



Дана Рубина

**НЕ ВЫЧЕРКИВАЙ
МЕНЯ ИЗ СПИСКА...**

18+

Большая проза Дины Рубиной

Дина Рубина

Не вычеркивай меня из списка...

«ЭКСМО»

2024

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

Не вычеркивай меня из списка... / Д. И. Рубина — «Эксмо»,
2024 — (Большая проза Дины Рубиной)

ISBN 978-5-04-196375-0

«Моя личная родня была неистова и разнообразна. Чертовски разнообразна касательно заскоков, фобий, нарушений морали, оголтелых претензий друг к другу. Не то чтобы гроздь скорпионов в банке, но уж и не слёзыньки Господни, ох нет. С каждым из моей родни, говорила моя бабка, "беседовать можно, только наевшись гороху!". «Не вычеркивай меня из списка...» — сборник семейных историй, в котором собраны уже знакомые произведения, а также новые повести и рассказы. Дина Рубина пишет о родных и близких людях с юмором, самоиронией, оптимизмом, образно и эмоционально. Вспоминает свою многочисленную родню и делится историями о муже Борисе Карафёлове, о сестре Вере, о бабушке Рахиль, и даже о любимом питомце Кондрате. Центральное место книги посвящено родителям — маме и папе Дины Ильиничны. «"Не вычёркивай меня из списка!" — вдруг вспоминаю я, и стою оглушённая, не вытирая слёз, под цветущими деревьями, под легчайшими облаками, — посреди жизни, весны, солнечных пятен на тротуаре, снующих-свиристящих в кронах миндаля птиц...»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-196375-0

© Рубина Д. И., 2024

© Эксмо, 2024

Содержание

С высоты насеста...	7
Праздник, который...	9
1	9
2	16
3	20
4	26
5	31
От Евы до Евы	34
Бабка	36
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Дина Рубина

Не вычеркивай меня из списка

© Д. Рубина, текст, 2024

© ООО «Издательство «Эксмо», 2024

С высоты насеста...

Воспоминаний уже напечатано много, но в них прошлое больно нарядно. Моё детство ненарядное.

Виктор Шкловский «Жили-были»

Честно говоря, никогда не любила читать воспоминаний о чьём-либо детстве; они всегда казались мне если не враньём, то уж напечатаженным муляжом. Редко когда панорамный портрет чьей-то родни, запечатлённый недрогнувшей рукой автора спустя лет этак 50, не источает еля и ладана. Вот разве Виктор Шкловский в книге «Жили-были», описывая обиход родительского дома, упоминает, что в разгар скандалов кто-то из его многочисленных братьев непременно «выносил плечом дверь».

Меня тошнит от засахаренного мармелада большинства воспоминаний: мама в них – всегда нежна, отец – заботлив, умён и мужествен, бабушка с дедушкой – образцы мудрости и доброты...

Моя личная родня была неистова и разнообразна. Чертовски разнообразна касательно заскоков, фобий, нарушений морали, оголтелых претензий друг к другу. Не то чтобы гроздь скорпионов в банке, но уж и не слёзыньки Господни, ох нет. С каждым из моей родни, говорила моя бабка, «беседовать можно, только наевшись гороху!».

Своё раннее детство в окружении родственных персонажей я помню сквозь непременно дымку цветения каких-то кустов или фруктовых деревьев или сквозь плотную, как парча, вязь виноградных усиков. Вижу их всех как на дагерротипе: я взираю на клёкот и грохот семьи с высоты своего горшка. Он был синий, эмалированный, с голубой незабудкой на боку, установленный для меня посреди беседки, увитой виноградом сорта «дамские пальчики». Сидеть на нём было уютно, сидела я подолгу, меланхолично впитывая громогласную перебранку всех со всеми, лай невменяемой собаки Найды, боевые вопли соседских кошаков, грозные окрики бабки... А надо всем этим балаганом – томный гул фиолетовых горлинок – тончайшую аранжировку детства.

Дом дядькин был саманным скоростроем: вернувшись с войны, дядя Яков сложил его собственными руками из кизячных кирпичей. Немудрёный такой домишко: две комнаты, соединённые одна с другой длинной застеклённой кишкой веранды, на которой стояли газовая плита, стол и крашеные синей краской табуреты. Синий цвет Востока, сакральный цвет, отгоняющий злых духов, не имел к нашим табуретам ни малейшего отношения. Просто соседу Косте удалось украсть со стройки именно эту банку.

В одной комнате дома жил сам дядя с семьёй, в другой жили бабка Рахиль и дед Сендер. Смешной домик... Но двор был большой, приёмистый, много-сарайный, пару-собачный, бродяче-кошачий, гурляще-голубиный, подсолнухово-ромашковый, бабочко-пролётный, пчелино-стрекозиный... – прекрасный таикентский двор.

Я восседала в центре двора на горшке, наблюдая жизнь. В детстве горшок абсолютно равен трону. К вечеру за мной по пути из художественного училища заезжал отец. Я встречала его на троне. Так государыня принимает заморских послов с верительными грамотами.

– Этот ребёнок когда-нибудь поднимается с горшка? – спрашивал отец недовольно.

– Ребёнку должно быть интересно! – отвечала ему бабка. И она, в сущности, была права: вокруг меня бурлила жизнь, я наблюдала её пульсирующий ход, мне было интересно.

Детство не подлежит уценке...

Видимо, за каждым из нас, как в картах Таро, закреплён некий образ, психологическая матрица. Я вечно сижу на каком-нибудь насесте; сижу и смотрю, как мимо меня катится

мир; медленно впитываю этот мир, для того чтобы впоследствии его извергнуть, описав по-своему, как можно честнее, смешнее и трагичнее...

С горшка я давно пересела на табурет, где, позируя отцу, часами сидела, уставясь туда, куда указывала его кисть. Потом пересела на обитый кожей музыкальный стул, сохранивший следы моего сидения за много лет фортепианной зубрёжки. И, наконец, меня приняло моё бывалое писательское кресло, в котором написано страшно произнести сколько сотен и даже тысяч страниц. При этом я то и дело снова посиживаю на разных табуретах, стульях и креслах, позируя уже не отцу, а мужу, художнику Борису Карафёлову; он ведь тоже – родня, и «беседовать с ним можно, только наевшись гороху».

Детство не подлежит уценке. Ребёнку должно быть интересно. А мы всегда – дети, мы по-прежнему дети, и сердца наши – как поёт второстепенная героиня в повести о молодом художнике, которую вы сейчас откроете, перелистнув страницу, – «наши сердца не имеют морицин».

Праздник, который... Маленькая повесть

Борису Карафёлову

1

В армию его призвали с третьего курса художественного училища. Тогда это казалось нормальным: ну, время подкатило, что поделать.

– Вернёшься, дорисуешь, – буднично бросил майор на призывном пункте, – вот Родине долг отдашь. Подождут твои краски-кисточки...

Всё же он прихватил с собой этюдник. Служба армейская представлялась Борису тягостной, морочной, но человеческой работой: должен же и *там* когда-то свободный вечерок выпасть, выходной... или как у них *там* это значит: *увольнительная*?

Симферополь уже закипал душноватым весенним дымком: по дворам цвели белым цветом вишня и алыча, в парке Тараса Шевченко нежно и молодо зеленели дубы, платаны и ясени, по берегам озёр, Нижнего и Верхнего, вдоль реки Славянки мягко стелились космы вавилонской ивы, а на склонах, покрытых молочаем, щедрыми солнечными каскадами соцветий сиял бобовник, ядовитый, но невозможно красивый кустарник, прозванный в народе «золотым дождём».

Время было самое рабочее, самое нетерпеливое: студенты училища имени Н. С. Самокиша группами выезжали на пленэры.

* * *

Огромный двор военкомата гудел призывниками. Все ещё в гражданском, с рюкзаками, будто в поход собрались. Борис тоже был с рюкзаком, довольно тощим: кроме зубной щётки и пары чистого белья, там лежали блокнот для рисования, карандаши, две книжки и бутылка очищенного скипидара под названием «Пинен». Зато этюдник он загрузил под завязку: кисти, мастихин, краски в тубиках. На всё это богатство потратил последнюю стипендию.

В общей неразберихе было шумно, и, несмотря на задиристые оклики и бодрые шуточки новобранцев и провожающих, несмотря на две гармони, залихватски разваливающие меха по разным углам двора, парни выглядели неприкаянными, озирались и глазами искали предполагаемое начальство.

Между призывниками сновали офицеры, приехавшие из разных воинских частей сопровождать ребят до пункта назначения. Одного из них – сутулого, носатого, длиннорукого – Борис приметил и мысленно прозвал Гоголем: тот и вправду чем-то напоминал если не самого писателя, то некий гоголевский персонаж. У него и фамилия была какая-то персонажная, а в сочетании со званием вообще смешная: старшина Солдатенков. Но был он симпатичен своей участливой физиономией и суетливым мягким выговором. Подходил к призывникам, первым представлялся, заговаривал, интересовался «интересами». Подошёл и к Борису, спросил:

– Эт что у тебя за чемоданчик?

– Это этюдник, – объяснил тот. – Я художник.

– Не-е, – с сожалением отмахнулся Солдатенков. – Мне бы спортсменов. Я там у нас спорт курирую.

Вот к этому дятлу носатому Борис решил держаться поближе: он не любил сутолоки и бестолковщины, любая неопределённость его раздражала, а с утра и до сей минуты вся его жизнь вообще представлялась полным хаосом.

Наконец всю разношёрстную, оживлённо гудящую толпу новобранцев построили в колонну и повели на вокзал...

...Странно было идти с этюдником через плечо знакомыми улицами, оставив за спиной привычный поворот на Тамбовскую, зная, что ближайшие три года не увидишь ни этих улиц, ни этого поворота; не пройдёшь мимо сутулой пицундской сосны на углу, не поднимешься по оббитым ступеням в портик с белыми колоннами, не войдёшь в знакомый вестибюль училища имени Н. С. Самокиша...

На вокзале уже стоял под парами их состав специального назначения: длинная цепь общих вагонов, хвоста не видать. Когда проводники с лязгом открыли двери, парни ломанулись внутрь, захватывая полки, кто пошустрее – нижние: всё же столик – немалое удобство в долгой дороге. А плестись, они уже понимали, предстояло много дней, пропуская все пассажирские и грузовые составы, по пути подбирая новобранцев из разных прочих мест необъятной, ох и необъятной же родины. Конечный пункт их дороги был Благовещенск. Странно произнести, а уж представить...

Борис протискивался по вагону меж спинами, плечами, бокастыми рюкзаками: всюду забито. Заглянул в последний отсек у туалета, где и нижние, и верхние полки были заняты; а тащиться дальше по вагонам смысла не было. Он вошёл, закинул рюкзак и этюдник на третью, багажную, полку и одним махом взлетел наверх. У него было лёгкое ловкое тело и не забытое с отрочества, ещё со школьных занятий акробатикой, мышечное удовольствие от прыжков на снарядах. Нашупав в рюкзаке, вытянул книгу – «Праздник, который всегда с тобой» – и улёгся на верхотуре, чуть не лбом в потолок, неторопливо пролистывая страницы, трепетавшие на ветерке из окна, как крылья бабочки.

Вообще-то он дважды уже прочёл эту книгу, но время от времени снова её раскрывал, прихватывая там и тут по десятку страниц для особого *парижского настроения*. Рассуждения Хемингуэя о литературе его занимали мало, но с жадным волнением он представлял улицы, кафе и набережные Сены начала века, по которым ходили великие художники – Пикассо, Матисс, Дерен... Они ведь могли оказаться за стойкой какого-то бистро, неподалёку от ещё не знаменитого писателя, перекинуться с ним парой слов, угостить выпивкой.

«...Париж никогда не кончается, – читал Борис, лёжа на третьей полке в поезде, который мчал его в такую даль, что сердце отказывалось верить и чувствовать, – и воспоминания каждого человека, который жил в нём, отличаются от воспоминаний любого другого. Мы всегда возвращаемся туда, кем бы мы ни были, как бы он ни изменился, независимо от того, насколько трудно или легко было до него добраться. Он всегда того стоит и всегда воздавал нам за то, что мы ему приносили...»

* * *

Книгу привёз из Москвы друг и однокашник Бориса Володя Пирогов. Счастливчик Володька обладал ценной штукой: пороком сердца, то есть от призыва был освобождён, и к тому времени, как Борис вернётся из солдатской кручины, должен был училище закончить. Они дружили с первого курса, с тех пор, как на вступительных экзаменах случайно обнаружили, что родились в один и тот же день, *в одной временной точке существования этого мира* (Володя любил завернуть что-нибудь такое). Сначала целый год снимали на двоих комнату у татарки Фатимы. Комната, вообще-то, была сарайчиком за кухней, «вместительная кровать»

из объявления, наклеенного на одной из колонн училища, – деревянным топчаном с блохастым матрасом. Но мальчики не роптали: называли свою нору «апартаментами» и, благо особой упитанностью не отличались оба, отлично умещались валетом на своём комковатом ложе.

Здание училища угнездилося в самом сердце района, тесно застроенного татарскими домами. То есть они были татарскими раньше, давно; после войны их заселили другие советские граждане, понатыкавшие в глиняные и каменные заборы осколки битого стекла – от вора. Но семью Фатимы, в отличие от других крымских татар, после войны не выслали, муж её воевал в партизанах и потому предателем родины не считался.

Семиметровая холодная пристройка за кухней у Фатимы обходилась недорого, каждому по трёшке, но и стипендия на первом курсе не ахти была: червонец. Ни он, ни Володя на помощь из дому не надеялись и потому справлялись сами: каждого первого числа закупали, нарезали и сушили в печке несколько буханок серого хлеба, покупали две пачки рафинада в кубиках. Это была основная, *базисная*, говорил Володя, еда: углеводы и глюкоза для мозга. Накачивались сладким чаем, заедали вкуснейшими, чуть присоленными сухарями... Совсем недурно! Иногда и Фатима подбрасывала огурчик или помидорину, а они взамен помогали ей в огороде.

На втором курсе повезло: дали им по койке в общежитии, в комнате на семерых, и стипендию повысили до двенадцати рублей. А на третьем курсе стипендия поднялась аж до четырнадцати рубликов. Это ж, говорил Володька, мы теперь кто: кум королю и сват министру!

Словом, стали они совсем самостоятельные парни.

Кроме того, оказавшись гороскопическими близнецами, они и день рождения справляли вместе: ежегодно в конце апреля приезжали к Володе домой.

Тот был родом из посёлка Отрадное, что под Ялтой, между Массандрой и Никитой; ехать недалеко, часа два с довеском: садились у общежития на троллейбус номер 3 и мимо парка Шевченко, мимо рынка, по центральной улице доезжали до автовокзала. Там пересаживались на другой троллейбус, междугородний, и это уже начиналось настоящее путешествие мимо склонов, желтеющих молочаев, заросших мушмулой, миндалём и боярышником.

Путь Симферополь – Ялта был весёлый, солнечный, кипарисовый, холмистый; с кобальтово-синим апрельским небом, прочерченным троллейбусными проводами; с деревянными ларьками на остановках, где можно было выскочить и купить чебурек или просто кулёк семечек у старухи... Этот путь был прообразом всех путешествий его жизни, и в дальнейшем ни в Тоскане, ни в Шварцвальде, ни по дороге в красных скалах Мёртвого моря Борис не испытывал такого предвкушения счастья и огромной жизни, как в недолгом пути в Отрадное, с Володиёв на соседнем сиденье.

* * *

Володина мама, Ксения Анатольевна, жила в одноэтажном доме частной застройки: две комнаты и кухня, а ещё открытая деревянная веранда, на которой к приезду мальчиков накрывался праздничный стол.

Домик был скромный, зато двор – неожиданно, несоразмерно дому – огромный, как в имени, засаженный по периметру кипарисами, самшитовыми кустами, яблонями и вишнями; тенистый, но с перепадами весь день гуляющих по нему солнечных полянок, озарявших то клумбу с пионами и календулами, то уголок с густыми красными зарослями кизила...

А посреди двора жил отдельной жизнью пруд, выкопанный и обустроенный ещё покойным Володиным отцом. Когда-то в него были выпущены две морские черепахи и несколько

золотых рыбок, которые давно уже выросли в матёрых пятнистых красно-белых патриархов и вели бесконтрольную жизнь естественного отбора, сражаясь с черепахами за крошки хлеба.

Ксения Анатольевна работала в Крымском институте виноделия и виноградарства «Магарач» и каждый год к приезду мальчиков припасала бутылку мадеры их года рождения: 1950-го.

А в последний их совместный приезд приготовила особенный сюрприз.

Борис к тому времени уже побывал в военкомате, уже услышал от майора совет про краски-кисточки. Понимал, что катится, катится к чертям его жизнь, учёба, живопись, а заодно едва вспыхнувший нежный интерес к девушке Асе, с которой месяца полтора назад он познакомился в третьем троллейбусе и с тех пор всегда старался подгадать к семи тридцати, когда она садилась на пять остановок до своей библиотеки.

Все эти пять остановок они оживлённо болтали, а в последний раз он рискнул и попросил её «посидеть» для портрета. И по тому, как славно она вспыхнула, будто просил он о чём-то запретном, тайном, по тому, как еле слышно выдохнула: «ну... хорошо», он понял, что, возможно, и для неё эти пять остановок по утрам хоть что-нибудь да значат.

Он понимал, что сидит на террасе у Ксении Анатольевны в последний раз, во всяком случае, в последний раз перед долгой разлукой; что девушка Ася проедет мимо его судьбы – не станет же она дожидаться из армии едва знакомого человека. Он сидел за столом, вдыхая трогательный, с нотками ванили, накатывающий волнами аромат жимолости, что росла у ступеней веранды, и заворожённо отмечал, как длинные тени кипарисов подбираются к двум обложенным кирпичами клумбам, где ещё горели на солнце ноготки и ромашки, но вот-вот должны были погаснуть – надолго, если не навсегда.

Пруд, который выкопал покойный Володин отец, неподвижно лежал в тени кипарисов огромным латунным диском, и на глади его возникали и гасли узоры от рыбьих плавников.

– Итак, други мои, – сказала Володина мать, доставая из буфета диковинную расклепённую бутылку тёмного стекла, – запомните этот день хорошенько, ибо не уверена, доведётся ли вам ещё в жизни такое вкушать... Это, мальчики, коньяк тысяча восемьсот восемьдесят третьего года! – И, осторожно наклоняя старинный сосуд, отвесила им в рюмки густую, как патока, янтарно-смолистую субстанцию...

Борис не понял тогда – понравился ему напиток или не очень, уж больно вязким и странным для языка оказался, его вот именно что приходилось не пить, а *вкушать*...

...но сейчас, лёжа лицом в жёлтый пупырчатый потолок общего вагона, он рассеянно листал страницы знакомой книги, вспоминая приземистую бутылку старинного коньяка и такие же приземистые рюмки красного стекла, вспоминая, как вкрадчиво и неумолимо тянулись длинные острые тени кипарисов к парчовой скатерти на столе.

«– ...А помнишь, как мы весной спустились на итальянскую сторону Сен-Бернара, после подъёма в снегах, и втроём с Чинком весь день шли до Аосты?»

– Чинк называл это «Через Сен-Бернар в городских туфлях». Помнишь свои туфли?»

– Бедные туфли. Помнишь, как мы пили фруктовый коктейль в кафе «Биффи», в галерее «Капри», со свежими персиками и земляникой из высокого стеклянного кувшина со льдом?»

...Вдруг вспомнилось, как однажды в мае, получив стипендии, они с Володей наладились в Гурзуф: там, в Доме творчества художников имени Коровина, была такая заветная лавка чудес со всем очень нужным для работы: красками, кистями, лаком и разбавителями...

...Они вышли на остановке «Гурзуф-павильон» и по главной улице Ленинградской (имя постороннее этому пейзажу, морю, шершавой скале Дженевет-Кая) стали спускаться мимо домов с резными деревянными галереями к распахнутой внизу искристой чаше моря, где в четверти километрах от берега ярко и празднично, как на открытке, сидели знаменитые Адалары: две скалы, два горба древнего морского чудовища.

От Ленинградки, и без того неширокой улицы, истёртыми ступенями спускались кривые путанные переулки. На каменных заборах мирно дремали кошки, настоящий цветник разного окраса шерстки. Одна, красновато-рыжая, сиявшая на солнце абрикосовым огнём, лениво потянулась, круто выгнула спину... и вдруг по широкой дуге перелетела улицу прямо перед лицами мальчиков, приземлившись на заборе слева.

– Ну и ну, – сказал Володя. – Кошка-летяга...

Курортный сезон ещё толком не начался, ни фотографа с ручной обезьянкой, ни горластых зазывал на экскурсии. Утренний покой изливался на черепичные и плоские крыши, стекая вниз, к старым волнорезам с ржавой арматурой, вспыхивая кружевными брызгами пены в аквамариновой густоте моря.

Они остановились и заспорили – как передать на холсте эту синеву до горизонта: изумрудной зелёной, кобальтом голубым или индиго, а может, кобальтом синим, ультрамарином и кобальтом фиолетовым?

Скупнёмся, предложил Володька, время же есть?

Времени-то было у них навалом, только на пляж не сунешься: трусы у обоих дырявые. Неловко... Они пошли по берегу в поисках безлюдного места и вскоре набрали на укромную бухточку за гребнем скалы; судя по проволочному забору, принадлежал этот участок чему-то военно-закрытому. Зато вокруг ни души, отметил Володька, можно купаться голяком, чтоб потом не фигурировать в приличном месте с мокрыми задками. Они перелезли через забор, разделались и с воплями бросились в холодное утреннее море. Так что Борис не сразу оглянулся на Володин крик, когда тот напоролся ногой на что-то острое.

Мгновенно прозрачная и крапчатая от камушков на дне вода окрасилась тёмным. Отпрянув, секунду-другую Володя с ужасом глядел на дымные струйки крови, поднимающиеся со дна, и вдруг, закатив глаза, тихо ушёл под воду. Борис ринулся к нему, подхватил под мышки и потащил на берег. Нога Володина сильно кровоточила, а Борис знал, хотя друг и скрывал эту свою боязнь, что вид крови, как своей, так и чужой, вырубает его с маху, как гимназистку.

На берегу он перевязал Володину ступню... трусами, конечно же, порванными на полоски. Ветхая материя рвалась как бумага, да и ничего другого из того, что не жалко, под рукой не оказалось. С грехом пополам натянул и на себя, и на Володю брюки и рубашки – и потащил друга на закорках к Дому творчества, где уж точно должен был находиться медпункт.

...Он там и оказался. Пожилая медсестра обработала и забинтовала Володе ногу (обе пары драных окровавленных трусов были ею брезгливо выкинуты в мусорное ведро и для скромного бюджета юношей потеряны безвозвратно), припугнула их столбняком от ржавой проволоки и погнала в больницу – делать укол... Гурзуфская больница стояла на ремонте, так что они потащились в Алушту и там невыносимо долго маялись в длиннющей очереди в приёмный покой, пока не прорвались в кабинет, где юная прекрасная дева, спустив с Володи штаны и удивившись отсутствию нижнего белья (стрельнула глазами и заметила: *очень удобно*, бес её разберёт, что имея в виду), вкатил наконец вождественную сыворотку в его тощую задницу.

Зато какой мощный, какой пенисто-розовый закат над морем они наблюдали сверху, стоя на шоссе! Хлопья облаков стягивались к горизонту, стремительно наливаясь кровью; солнце, спускаясь, остывало и багровело, а коснувшись воды, вонзило в море длинный кинжал, острие которого, достигнув берега, долго шевелило на мелководье розовую гальку.

– Значит, так: небо... кадмий лимонный и кадмий жёлтый...

– ...можно и кадмий оранжевый, – вставлял Володя, – а вода – кобальт фиолетовый и ультрамарин.

– ...а гора как светится, смотри: кобальт синий и ультрамарин, да. Передаём контрастом.

Ни черта они в тот день не успели, ради чего ехали: ни красок не купили, ни даже в море по-человечески не искупались. Проваландались в потной очереди за столбнячным уколом, все свои гроши потратили на попутки. Но тот ошеломительный закат в вихре багряных хлопьев, под которым они спорили, стоя без трусов, без денег, но с огромным вдохновенным будущим творческих побед... – разве то был не праздник, который – всегда, всегда?..

* * *

В Керчи и в Джанкое в поезд добавилось призывников, стало ещё теснее и громче, молодая спёртая мужская сила накапливалась и сатанела, распирала загустевший воздух. Из конца в конец вагона кто-то кого-то окликал: «Санёк, чуешь подлянну?!»; кто-то возле туалета столкнулся с давним недругом, кто-то узнал *одну падлу с Консервного завода*... Голоса грубели, похохатывали, взлетали угрожающей матерщиной... Часа через полтора, будто все ждали этой искры, вспыхнула и покатила по вагону драка между керченскими и джан-койскими.

Метелили друг друга жадно, страшно, отчаянно; в ход пошли ножи, заточки и кастеты, для чего-то припасённые в солдатскую дорогу... Кровища летела на стенки вагона, кто-то уже валялся в тамбуре на полу, зажимая живот. Сержанты, старшины метались по составу, но унять бешеных драчливых лосей не могли.

Борис лежал на своей верхотуре, листал книжку...

Чьи-то головы мотались под его локтем, кто-то выл от боли, мат стоял кромешный. Время от времени он скашивал взгляд вниз, перелистывал страницу, читал дальше...

Когда на узловой станции в вагон ворвалась вызванная милиция и зачинщиков скрутили и вывели, а заодно вынесли тех, кого сильно покровсали, старшина Солдатенков, тяжело дыша, пошёл по проходу, осматривая поле битвы. В их отсек тоже заглянул, бормоча:

– Бородино... Бородино, блядь!

Огляделся, поднял голову и заметил Бориса на третьей полке.

– Ну что, – спросил, – культурно проводим время? – чем Бориса порадовал: у старшины Солдатенкова, которого он сразу отметил, имелось, оказывается, и чувство юмора. Тот взял в руки книжку, покрутил-полистал, прочитал вслух название. Хмыкнул: значит, вот чем вдохновлялся новобранец посреди жуткой свалки! А имя автора не одолел: это не имя, сказал, возвращая книгу, а воровская кличка какая-то. Разве прилично такое на книжке печатать?

* * *

В Перми ещё лежал снег, ледяной ветер продувал угрюмый стылый город, вытянувшийся вдоль Камы. Какое-то пространство... оглохшее, думал Борис.

В сборном пункте военного комиссариата, куда свезли не только крымчаков, но и сибиряков, и прибалтийцев, и ребят из регионов Кавказа, всем выдали форму, разом превратив разношёрстную толпу в воинский контингент. Всё это море призывников разделялось затем на рукава и протоки и далее следовало по разным своим маршрутам – всегда в сторону, противоположную от родного дома, от семьи, от душевного тепла; в сторону, противоположную сердцу и всем чувствам и привязанностям жизни.

Уже в форме, с рюкзаком на коленях Борис сидел на своём этюднике, поставленном на попа, в огромном кирпичном бараке с бетонным полом. Внутри у него всё заиндевело, как воздух снаружи, и молчало. Мысленно он уже выстроил стену между своим тёплым морем,

цветущим Симферополем, другом Володькой, троллейбусом номер три по утрам... и всем тем, пока неизвестным, что ему предстоит. Стена была каменная, холодная, высотой в три года.

...Там его и разыскал старшина Солдатенков. Вообще-то старшина в своём авиационном училище на добровольных началах курировал спорт. Потому и приглядел ещё в поезде двух спортсменов: Шевчука и Левигина. Один тягал штангу, другой занимался боксом; всё это могло пригодиться в будущих армейских соревнованиях. Борис же ему просто понравился своей невозмутимостью: как парень книжку-то читал там, в вагоне, парил, можно сказать, над бешеной дракой, хладнокровно переворачивая страницы!

И после утряски вопроса с начальством старшина, прихватив двух своих спортсменов и этого *философа*, отбыл на базу.

Так Борис остался в Перми.

2

Военно-авиационное техническое училище ВВС находилось на окраине Перми, вернее, уже за городом. Туда редко ходил автобус, но всё же дожидаться его было можно, стоя под бетонным козырьком остановки, покуривая и до отупения рассматривая густую полосу серой и чёрной ольхи на противоположной, заболоченной стороне дороги, где протекал один из множества здешних ручьёв.

Природа едва просыпалась после долгой метельной зимы, и столбик термометра с усилием преодолевал нулевую отметку.

Бывалые люди уверяли, что месяца через полтора что-то там расцветёт, что-то раскроется, грянет жара «и будет красиво». Возможно... Пока рисовать всё это Борису не хотелось, хотя в первый же день он почти машинально набросал на листе блокнота памятник у КПП: истребитель, с двумя ракетами под брюхом, взлетал на бетонном хвосте, одновременно упираясь этим хвостом в землю. Интересное архитектурное решение.

Тут же был простёрт искусственный пруд, выкопанный давними поколениями служивых, в котором в тёплую погоду сручники и курсанты совершали заплывы.

По огромной территории, между дорожками с неровно проложенными бетонными плитами, были разбросаны здания двухэтажных казарм из серого кирпича, административные корпуса, клуб, спортивный зал... Асфальтированный плац, где проходила строевая подготовка.

* * *

Военное авиационное училище готовило будущих офицеров и младших специалистов, механиков по обслуживанию самолётов. Борис попал в оружейную роту и не сразу переключил голову с проблем сочетания красок на вооружение самолёта: на бомбы, снаряды, пулемёты, оптические прицелы...

Дни его теперь были размечены по минутам от «Рррота, подъём!» до «Ррррота, отбой!». Зарядка-пробежка, завтрак, занятия в классах. Стрельбища, спорт, обед и снова занятия. Немного свободного вечернего времени перед ужином или очередной наряд... Наконец, вожденное: «Рррота, отбой!»

Но то ли помогла ему та высоченная внутренняя стена, которую он выстроил между собой и прошлой жизнью, то ли ум его оказался не менее приёмыстым и гибким, чем тело, – только месяца через три бесконечной муштры, зарядки, нарядов и снова муштры; после сотни раз отработанной сборки-разборки разного типа лёгкого вооружения он как-то само собой разумеющимся ходом попал в число лучших солдат в своей роте.

Если бы кто-то всего полгода назад предсказал ему, как лихо, без запинки, он станет отвечать на вопросы – почему в Ту-16 двигатели развёрнуты под углом к плоскости симметрии самолёта (чтобы газовые струи не попадали на фюзеляж!), что такое продольные бимсы и почему они располагаются за задним лонжероном центроплана... – он посмотрел бы на того человека с тихой иронией. Однако весьма скоро он мог разобрать и снова собрать до винтика пушку АМ-23, одну из семи пушек, полагающихся самолёту в качестве оборонительного вооружения.

Чтобы не заморачиваться с лишней площадью бритья на собственной физиономии, он отпустил усы. Уставом, правда, это не разрешалось, полковник Язерский, если замечал на построениях кого-то такого, *украшенного волоснёй*, подсказывал и кричал прямо в лицо: «Щипцами! Щипцами буду выщипывать!» Бориса никто не предупредил, и потому, стоя в

шеренге и вытянув подбородок, он с ужасом ждал приближения начальства. Полковник, миниатюрный порывистый человек, взглядом выудил Бориса... и, слегка запнувшись, проговорил:

– Хм... Национальная гордость? Понимаю. Носи!

Так он заработал у ребят кличку Грузин – они любую кавказскую национальность сразу определяли в грузины. И правда: с отросшими завитками чёрных волос и щегольскими чёрными усиками Борис преобразился в нечто галантно-кавказское; во всяком случае, на вольного художника он походил сейчас гораздо больше, чем в училище Самокиша, когда предпочитал вообще бриться наголо, дабы избежать «пустых трат» типа душистого мыла.

Свободного времени, особенно в начале службы, совсем было кот наплакал. Минут сорок днём, между занятиями, ну и вечером столько же, перед ужином и отбоем. Но он ухитрялся даже на эти сорок минут отъединиться от остальных.

В здании клуба, на первом этаже разместился в небольшой комнате солдатский буфет, там всегда можно было купить бутылку лимонада с медовым пряником. Борис тогда уже не курил (бросил сам и довольно легко на первом же курсе, определив и это баловство по части «пустых трат»), так что солдатское довольствие – 3 рубля 80 копеек – тратил на этот почти парижский шик.

В свободное время, прихватив «Праздник, который всегда с тобой», он заходил в солдатский буфет вразвалочку, представляя, что спускается по лестнице в тёмный уютный бар где-нибудь на Рю Лепик...

В рюкзаке под койкой у него лежала хорошая книга о Врубеле, да и в здешней библиотеке он нарыл книгу о Серове, которого, как и Коровина, очень любил и считал русским импрессионистом... Почему же именно эти, разрозненные, непоследовательно изложенные и в целом бессюжетные главы незаконченной книги американского писателя стали для него, молодого пленного художника, Библией, слепком волнующего недостижимого мира, образом жизни свободного, вольного в своих передвижениях и поступках человека? Почему в сотый раз он раскрывал эту затрёпанную книгу на какой-нибудь сто сорок седьмой странице и жадно и в то же время меланхолично читал:

«...Так в один день кончилась осень. Ночью ты закрывал окна от дождя, и холодный ветер обрывал листья с деревьев на площади Контрэскарп. Размокшие листья лежали под дождём, ветер охлёстывал дождём большой зелёный автобус на конечной остановке, кафе «Дез аматёр» было забито народом, и окна запотевали от тепла и дыма внутри. Кафе было печальное, паршивое, там собирались пьяницы со всего квартала...»

За окном буфета сновали солдаты и курсанты, вокруг простиралась воинская часть с казармами, с дурацким самолётом, присевшим на хвосте, как щенок; с тягучей муштрой и насильственной зубрёжкой ненужных ему вещей; за тощей шеренгой осин отсюда проглядывался тоскливый плац, поглотивший его любимое дело, его оборванную любовь...

Он опускал голову: перед ним на обшарпанном столике стоял гранёный стакан с лимонадом, на кружевной бумажной салфетке лежал медовый пряник. Он раскрывал наугад книгу и представлял себе Париж, обитую медью стойку в углу бара и оживлённую компанию молодых людей:

«...Это было приятное кафе, тёплое, чистое, приветливое, и я повесил свой плащ сушиться, положил свою поношенную шляпу на полку над скамьёй и заказал кофе с молоком. Официант принёс кофе, я вынул из кармана блокнот и карандаш и начал писать... Но в рассказе ребята пили, мне тоже захотелось. И я попросил рома «Сент-Джеймс». Он показался вкусным в

*этот холодный день, и я продолжал писать, мне было хорошо, и добрый
мартиникский ром согревал тело и душу...»*

Тогда, чтобы не сидеть как дурак за пустым столиком, он решился купить ещё пряник, и буфетчица Галя, очень некрасивая особа лет сорока, цокала языком и говорила:

– Весь провиант сегодня пролимонадил!

Кто-то из ребят намекал, что Галя не прочь уединиться в подсобке буфета с любым, кто поможет ей «поднять пару тяжёлых ящиков на полку». Вытирая стаканы за стойкой, обитой листами жести, она тихонько напевала: «Жиноче сэрсэ... морщын нэ мае...»

Да, она была милая и приветливая, но... такая обескураживающе некрасивая – угловатая, с заметно выпирающим животом, с большими крабьими руками... Борис только дружелюбно ей улыбался, соглашаясь с оценкой его безумия, и вновь опускал глаза на страницу.

Читал и думал об Асе:

*«...Мне хотелось поместить её в рассказ или ещё куда-нибудь... Я
увидел тебя, красотка, думал я, и теперь ты моя, кого бы ты ни ждала,
и пусть я больше никогда тебя не увижу, ты принадлежишь мне, и Париж
принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и этому карандашу...»*

Близилось время отбоя, за территорией военной части и далеко вокруг простиралась равнина, испещрённая оврагами и балками, ошетиленная пиками елей и пихт, заросшая ольхой и осиной... Смог бы он когда-нибудь написать пейзаж этих мест? Эх, поговорить бы с Володькой, думал, хотя б с полчаса. В своих солдатских снах он продолжал писать цветущий миндаль, стены крепости Карадаг под слепящим небом, абрикосовую кошку на заборе, солнце на камнях, тусклое олово засыпающего моря...

* * *

А старшина Солдатенков не пожалел, что в придачу к спортсменам прихватил *этого философа*. Как ни смешно, но именно философ, со своим странным деревянным ящиком на ремне, неожиданно легко влился в спортивные ряды, которые курировал старшина. Наблюдая за этим солдатом, он только головой качал: какие способности у парня, и на что их променял! Для Бориса и самого его нынешние спортивные успехи оказались некоторым сюрпризом. Подроском, ещё в родном городе, в Виннице, он посещал спортивное общество «Динамо» и в десять лет уже имел второй разряд по акробатике. Почему-то акробатика казалась ему видом спорта более аристократичным, чем гимнастика. Несколько лет он и футболом увлекался, и там вообще оказался звездой: стоял вратарём на воротах и, замечательно прыгая, брал труднейшие мячи. Позже тренер тянул его в юношескую сборную по футболу, но в эти годы Борис уже посещал изостудию при Дворце пионеров, рисовал кубы и трапеции, писал акварелью натюрморт с большим красным яблоком и синей вазой... и мечтал о жизни весьма далёкой от прыжков за мячом.

В авиационном училище был хороший спортивный зал со всеми полагающимися снарядами, с волейбольной-баскетбольной площадкой.

И очень скоро выяснилось, что Борис, совсем, как ему казалось, позабывший школьную акробатику, неожиданно для себя очень быстро стал набирать в гимнастике. Месяца через три уже участвовал в соревнованиях по третьему разряду: вольные упражнения, упражнения на кольцах, на брусьях, на перекладине, опорные прыжки... Видимо, мышцы взяли на себя тяжёлую работу по утихомириванию воображения, по утишению тоски. Кроме того, бегал он эстафету, четыре по четыреста, и прыгал в высоту – возможно, тут сказалась его вратарская прыгучесть? А может, думал он с усмешкой, правду говорил старый тренер, когда явился однажды

к ним домой и с пеной у рта доказывал маме, наливавшей ему чай: «Это ж разница какая: кисточкой мазать где-то в тёмном углу или под софитами стать любимцем миллионов!!!»

В подсобке спортивного зала стоял большой деревянный шкаф, в нём обнаружили шпаги и рапиры... Кто-то из ребят выхватил, загоготал, принялся в шутку фехтовать... уж «Трёх мушкетёров» Дюма мало кто не читал. Сначала забавлялись, потом вдруг увлеклись. Валя Колтухин, подобранный всё тем же деятельным старшиной Солдатенковым, был спортсменом настоящим, победителем области в соревнованиях на саблях. Но сабель в шкафу не нашлось. Так что, перенеся боевой опыт на рапиры, Валя давал ребятам кое-какие уроки, во всяком случае, объяснил основные правила боя.

И они, как мальчишки, устраивали «мушкетёрские поединки – гвардейцы Ришелье против мушкетёров Его величества»; вставали за час до подъёма, чтобы помахаться, или фехтовали в свободное время, данное солдату на то, чтобы почистить форму, подшить воротничок...

* * *

«...Знаешь, друг мой Володька, это какая-то совсем другая жизнь. И люди совсем другие, северные, туманные люди... Рота наша в основном сибирская: Кемерово, Барнаул, Томск, Иркутск. И это, когда за ними наблюдаешь, очень поучительно в смысле пластики, в смысле изображения, рисования типажей. Они скованны в жестах, в словах, двигаются, как диктует им пространство. И потому у них у всех сразу отлично пошла шагистика на плацу – ать-два! – то, что мне совсем не даётся. Я – расхлябанный, руками машу, когда разговариваю (недавно за собой заметил) – помогаю себе руками, изображая предметы вслед словам. Этот театр, думаю, – просто Юг: свобода тела, постоянное тепло и отсутствие тяжёлой сковывающей одежды...

А люди здесь потрясающе интересные! Вот наш «лесной человек», настоящий леший, Васька Гриднев. Отец у него лесничий, ну и Васька всю сознательную жизнь живёт в тайге. Какую-то школу он время от времени, конечно, навещал от нечего делать и в списках призывников значился. Военкомат его разыскивал – знаешь как? Летали над тайгой в вертолёте, забрали беднягу прямо из домика лесничего. А он – натуральный Тарзан. Представляешь, впервые в жизни увидел в спортивном шкафу гантели и прикипел к ним, как к любимой женщине. Они поразили его воображение. Теперь в любую свободную минуту Васька работает с гантелями; накачал уже страшную мускулатуру, и всё мало ему, видно, с медведем сравняться решил. Зайдёшь в умывальную: Васька стоит перед зеркалом, в руках по гантели, ноги на ширине плеч, по краям – стальные руки-крылья. А вместо сердца...

Есть ещё один дикий экспонат, немец Ригель – огромный, круглоголовый, страшно умный зверь. Он из Кемерово, и это уже другой рассказ, на следующее письмо...»

3

На подъём и отбой полагалось 30 секунд по секундомеру.

– Рррота, подъём!!!

– Рррота, отбой!!! – и пошёл отсчёт...

Борис всегда успевал. Однажды вечером, в самом начале службы, едва он, молниеносно раздевшись, нырнул под одеяло и блаженно вытянулся на койке, но ещё не успел закрыть глаза, перед ним возникла, вернее, свесилась со второго этажа бритая голова. Круглые немигающие глаза смотрели холодно и твёрдо.

– Вот слушай, Грузин, – сказала голова. – Берём утверждение Канта о вещи в себе... Для человека вещь – штука непостижимая. Человек не может её познать. Теплота, цвет, вкус, непроницаемость или прозрачность – это лишь качества, присущие телам. А чувства, опыт человека не дают познания природы вещей... которые – в себе. Правильно?

– Не совсем, – отозвался Борис. – «Вещь в себе» – это неточный перевод. У Канта – «Ding an sich», вот и перевели буквально, как «вещь в себе». Почему – в себе? Что это значит? Белиберда какая-то, ненужная мистика. Точнее сказать: «вещь сама по себе» или «вещь как она есть». Разграничение вещей и явлений – это Кант. Чистый разум, чистая математика. Свобода в мире причинности.

– Ты немец, Грузин?

– Нет. В школе немецкий учил. А Канта просто читал. Канта, Гегеля... Так, заглядывал. Интересно было, примерно с полгода... Потом остыл.

Они ещё немного поговорили на разные отвлечённые темы, звучащие довольно дико – в казарме. Видно было, что Ригель хотел бы кое-что ещё обсудить, но отбой есть отбой, незачем красть у себя же минуты сна...

С того вечера они не то что подружились – с Ригелем дружить было невозможно, – но иногда спокойно разговаривали о разных вещах. Видимо, Ригелю что-то импонировало в Борисе, возможно, та же невозмутимость. Однажды он попросил открыть «ящик» и продемонстрировать, как получается портрет. И Борис на грунтованной картонке, одной из четырёх, которыми он запасся перед отъездом, написал портрет Ригеля минут за сорок; просто набросал эскиз, усилив только глаза: холодные, жестокие до звериной ясности. Тот взглянул, засмеялся и буркнул: «Ну и сволочь же я!» Взять портрет в подарок отказался.

Ригель был жесток до оторопи. В армии он спрятался: покалечил кого-то на танцплощадке, а наутро сам предусмотрительно явился на призывной пункт. Здесь тоже ходил по краю, ибо расчётливое подловатое насилие пульсировало в самой сердцевине его натуры. Безжалостно гоня и избивая для развлечения двух-трёх щуплых и безответных ребят, этот здоровяк никогда не приставал к спокойному штангисту Шевчуку или ловкому и жилистому Левигину – тот, помимо бокса, увлекался какими-то азиатскими видами казней и в свободное время ходил по казарме, набивая о стены и косяки рёбра ладоней, обещая при надобности «шеи рубить голыми руками».

* * *

Каждую неделю в клубе ВАТУ показывали фильмы. Не только классику типа «Чапаева» или «Кубанских казаков», наизусть уже вызубренных глазами-ушами; не только военно-сентиментальные ленты типа «Баллады о солдате», но и лирические комедии – «Девчата», «Карнавальная ночь», – где и поржать можно было, и полюбоваться фигуркой Гурченко с соответствующими смачными комментариями... У солдат эти фильмы пользовались сумасшедшим

успехом, напоминая забритым в солдатчину мальчикам, что где-то там, потом, когда-нибудь обязательно наступит совсем другая жизнь...

Впрочем, думал Борис, может, он просто прикидывает на нормальных ребят свои настроения? Вон как гогочут они в самых идиотских местах комедии. Может, потом эта армейская служба станет для них самым памятным, гордым и ярким отрезком биографии?

В зал с растянутым по сцене экраном набивался весь воинский контингент училища – и срочники, и курсанты. Две эти группы учащихся ВАТУ враждовали, и это вполне, думал Борис, вписывается в природу человеческих приязней и ненавистей. Курсанты, будущие офицеры, получали приличную стипендию, учились на интересную профессию, а по окончании училища имели все виды на уважаемое положение в обществе. Срочники же, солдатня-шантапа, прокуривая жалкое пособие – 3 руб. 80 коп., отбарабанив службу, возвращались в свои посёлки и городки, на свои танцплощадки, оттоптаннные за годы их отсутствия другими танцорами, на пустой каменистый старт возвращались, чтобы снова с карачек подниматься и упорно куда-то бежать. Словом, было, было за что ненавидеть более удачливых сверстников.

В тот день показывали детский фильм «Старик Хоттабыч» – кому только в голову пришло привозить это в воинскую часть. Тем не менее в кино отправились все, никто от развлечения не уклонился.

Борис с Ригелем и другими ребятами сидели за рядом курсантов – те, ушлые, всегда успевали занять первые ряды. Перед Ригелем сел высокий головастый парень, торчал маяком, заслоняя обзор...

Фильм начался, Волька нырнул в реку, вытащил кувшин, приволок его домой. Все ждали момента, когда из кувшина выползет струйка, уплотняясь в стариковскую фигуру волшебного узбека... Сейчас, конечно, смешно, насколько это увлекало, но тогда, на экране солдатского клуба, выглядело ошеломляюще!

– Репу убери! – рявкнул Ригель, хлопнув по плечу Гулливера перед собой. – Не видать из-за тебя ни хера!

– Щас, – отозвался тот, не двинувшись. – Отвинчу и выброшу, для твоего, блядь, удобства.

Дальше фильм катился себе, Волька с Хоттабычем летели на ковре-самолёте прямо по голубому небу. За всей этой снятой в студии рисованной белибердой Борис не заметил, как Ригель расстегнул ремень с пряжкой, утяжелённой свинцом, и тихо сидел рядом, дожидаясь очередного взрыва простодушного солдатского смеха. И когда тот прокатился по залу, Ригель со страшной силой обрушил пряжку ремня на голову сидящего впереди курсанта.

На фоне светлого экрана из головы парня выпулынулся чёрный фонтанчик, он молча осел набок и... обливаясь кровью, свалился в проход, под ноги хохочущих товарищей.

Кто-то крикнул: «Серёга, ты что?! Серёгу убили-и-и!!!»

Поднялась суматоха, все в зале повскакали с мест – где, кого, когда, кто?!!

...Хоттабыч на экране учил Вольку колдовать, со звоном вырывая волосы из собственной бороды.

Ригель – удивительно быстро, за мгновение до общего шума и неразберихи – смылся в темноте. Борис, сам не понимая зачем, бросился следом...

Спотыкаясь о чьи-то ноги, натываясь на чьи-то спины и плечи, он выскочил на улицу и увидел мелькнувшую впереди квадратную спину... Ригель бежал к казарме, стараясь держаться за кустами, куда фонари не доплёскивали свой мутный желтоватый свет. Они и так светили через одного.

За кустами он и догнал Ригеля, и остановил, негромко окликнув.

– Послушай, Ригель, – проговорил, пытаясь казаться спокойным, – зачем ты это сделал? Он такой же парень, как и ты!

Тот стоял, оскаленно, рывками дыша, странно улыбаясь в мертвенном свете фонаря.

– Не-е-е-ет, – так же оскаленно улыбаясь, выдохнул. – Не-ет, он не такой же, как я. Ты видел, слышал его? Гладкого такого, умного, уверенного во всей дальнейшей жизни?.. Вот теперь, может, не так уверен... Такой же, как я, говоришь? Не-е-ет! Его семью в 42-м не выбивали прикладами из родного дома под Царицыном, не загоняли в товарные вагоны, не везли зимой в Сибирь, – они ведь немцы, предатели, враги русского народа... У него в дороге не умерли два брата, их не зарыли рядом со шпалами... Его бабушка и беременная мама не копали землянку, потому что местные их, *фашистов*, в дом не пускали... А потом его маму не оторвали от младенца, не увезли в Анжеро-Судженск, не загнали в трудармию, не послали в шахту добывать уголь, когда остальных женщин распределяли наверху... А потом, после войны, его мать не ходила годами каждый день, как проклятая, отмечаться в комендатуре; аж до середины 50-х! Я помню, хотя мальцом был, я-то ходил с мамой отмечаться. Не-е-ет, его мать не вламывала на шахте мотористкой по 14 часов под землёй, на мужской работе, потому что она – немка, так ей и нужно, фашистке. Его мать не попадала дважды под обвалы. Её не вытаскивали полураздавленную, и сейчас его мать не ковыляет на костыле с перебитыми ногами, с копеечной пенсией по инвалидности... – Ригель вдохнул поглубже раз, другой, словно перебивая слёзный спазм в горле. – Такой же, как я, говоришь?! Нет, он не такой же, как я. Его не дразнили в детстве фашистом, его не тошнило от запаха гнилой хвои. Ты гнилую хвою когда-то нюхал?! – крикнул он вдруг.

– Гнилую? – растерянно повторил Борис. – За... зачем?

– А затем, что на шахте почти каждую неделю случались завалы. Затем, что каждую неделю гибли люди, а кто не в шахте, тот спивался или вешался, на хер! А мы жили на улице, по которой покойников к кладбищу несли и за каждым гробом вслед хвойные ветки бросали... По четверо, пятеро покойников в неделю. И ветки, ветки... Их никто не убирал, и они гнили, они гнили! Господи, как меня мучило от этой вони... Я как слышу это «ах, целебный запах хвои! Душистое мыло с запахом хвои!», мне хочется придушить говноеда, кто в нормальное мыло эту срань мертвецкую добавляет. Только зимой, только зимой ею не воняло!.. А меня и здесь от этой хвои воротит...

Он оборвал себя, молча взойшёл на крыльцо казармы, рванул дверь, протопал мимо поста, где рядом с тумбочкой стоял в наряде полусонный Сенька Петрухин, и скрылся внутри...

Больше они не сказали друг другу ни слова.

Борис промучился всю ночь. На верхней койке очень тихо лежал Ригель, но по дыханию слышно было, что не спал.

Борис понимал, что Ригеля надо остановить, что самым правильным и честным было бы доложить о случае начальству... Но не мог он этого сделать! Не потому, что боялся Ригеля, просто не мог: тот знал, что Борис был свидетелем его внезапного подлого, со спины, нападения на курсанта, и значит, доверял ему безоговорочно. А после всего услышанного он вообще уже не мог относиться к Ригелю по-прежнему: как к опасному бездушному зверю.

* * *

Володе он писал регулярно. Сначала каждую неделю, потом, с накатом привычки, усталости, смирения и даже некоторого отупения, – пореже... Тот аккуратно и подробно отвечал: в училище всё по-прежнему, приступили к «обнажёнке», позируют разные «девушки»: одна Марина, помнишь, продавщица чебуреков с набережной? Она приходит в свой выходной, очень довольна заработком – платят им много, рубль в час, – хотя позирует она плохо, позу не держит, каждые пять минут просит то перерыва, то чайку глотнуть, да и рисовать её не очень интересно: она костлявая, узловатая и какая-то... изработанная, что ли, – у Дюрера такие старухи, помнишь? А вот вторая натурщица – прекрасная и очень милая, хорошо сложена, прямо

«Весна» Боттичелли, и работать с ней – одно удовольствие. Зовут Асей, говорит, что знакома с тобой, но бегло, «троллейбусное знакомство»... Правда это?

Борис прочитал про Асю вечером, перед отбоем, когда каждый занимался кто чем, а сам он уже разложил гимнастёрку на койке, чтобы пришить на рукавах болтающиеся пуговицы. Прочитал... и в лицо ему плеснуло ледяным жаром. Он вообразил, как она раздевается за бамбуковой ширмой в их рисовальном зале на втором этаже, как выходит на подиум, садится на куб или стоит, опершись рукой о спинку кресла... А что ж, это хороший честный заработок, сказал он себе. При её-то библиотечной зарплате.

Но успокоиться никак не мог; выскочил наружу, в дождь, и долго мотался, меряя шагами плиты с проросшей между ними травой, тупо повторяя: «троллейбусное знакомство... троллейбусное...», а перед глазами у него было её лицо, так невинно вспыхнувшее, когда он предложил ей «посидеть для портрета»...

Между тем усилились холодные дожди, в сентябре по утрам на траве вдоль плаца мерцал голубоватый иней, часто налетали шквальные озверелые ветра, и холод вливался в горло, едва заглотнёшь его на крыльце казармы. Холмистый горизонт проредился, стал графически более ясным, деревья выпрастывались из листвы с какой-то обречённой поспешностью, словно торопились на сеанс позирования.

В свободное время он по-прежнему заходил в буфет и тратил скудное довольствие на пряник и лимонад, с тоской воображая себя в сумрачном парижском бистро, где в камине жарко плещет весёлый огонь, звучат оживлённые женские голоса, а бармен отворачивает кран и наполняет бокалы...

Сидел и сидел за изрезанным ножичками столом у окна, за которым театрально кружили редкие снежинки.

Заглядывать в книгу Хемингуэя ему уже не требовалось, он и так знал любимые отрывки наизусть:

«Вся печаль города проявлялась вдруг с первыми холодными зимними дождями, и не было уже верха у высоких белых домов, когда ты шёл по улице, а только сырая чернота и закрытые двери лавок – цветочных лавок, канцелярских, газетных, повитухи второго сорта – и гостиницы, где умер Верлен, а у тебя была комната на верхнем этаже, где ты работал...»

Буфетчица Галя, протирая стаканы, всё так же загадочно поглядывала на него, временами затягивая свою многозначительную песню. «Жыноче сэ-эрцэ морщын нэ мае...» – напевала она, а снежинки за окном медленно взлетали, не падая, будто земля их рождала, а не небо, будто они стремились вверх, как и памятник на воротах: самолёт, присевший на хвосте, как дрессированный пёс.

В ноябре воцарились устойчивые морозы, а в декабре грянул совсем лютый колотун. Холода в этом году держались несусветные: до 45 градусов. Первые обморожения были у сибиряков: те жаловались, что зима тут другая, сырая, собачья, вот у них в Сибири морозы – сухие, скрипучие и ясные... Плевков застывал на лету, превращаясь в ледышку. Выстоять в карауле два часа было – как океан на плоту переплыть.

* * *

К Новому году Борису стало казаться, что зиму он не переживёт. Эту темень, невыносимый холод, бесконечную тоску... Временами в голову приходила дикая мысль, что его заперли навсегда и в жизни уже никогда не будет ничего, кроме построений, зарядок, разборки до последнего винтика пушки, а по субботам – походов в клуб на киносеанс.

Дважды снился *тот самый* сон, которого он и боялся, и жаждал. Иногда, засыпая, звал его... но тот приходил под вкрадчивый плеск волны, всегда незванный: захлёстывающий и бездонный...

...Это случилось на практике в Рыбачьем. Замечательный берег там, с небольшой бухтой, круто уходящей в глубину. А ещё где-то поблизости есть конная ферма, и конюхи время от времени выводят купать лошадей. Такое наслаждение наблюдать эти могучие тела, сверкающие на солнце мокрыми боками!

Целый день за этюдником, под солнцем... У каждого была какая-нибудь смешная шляпа: Борис одолжил старую, соломенную, у мужа Фатимы, приобрёл ковбойский вид и заламывал её на затылке, как заправский житель прерий. Володя позаимствовал у мамы дамскую панаму – белую, с букетиком фиалок за лентой. Ну и что, подумаешь, спокойно отмахивался от шуточек, зато поля у ней широкие...

Так здорово было, сложив наконец этюдник, броситься с разбегу в прохладную воду и плыть, то зарывая голову в волну, то вздымая её; хватануть кусок воздуха и вновь погрузиться с головой в воду...

Всё детство, а он вырос на Южном Буге, Борис привык пропадать на реке, переплывая её от берега к берегу по многу раз, и на спор, и просто на жаре, в удовольствие. На море всегда заплывал далеко, не чувствуя ни усталости, ни бездны под собой, подолгу отдыхая на спине, впитывая всей кожей огромную стихию воды; море никогда не надоедало.

В тот раз он припозднился и в море вошёл, когда солнце коснулось горизонта, поджигая горящим факелом тёмную плоть воды. Но плыл всё дальше, хотя Володька уже кричал, что столовая закрывается через час и что не успеем из-за твоих дурац... – голос его растаял позади в ровном глухом шёпоте и плеске морской тишины. На море было небольшое волнение, и когда он уходил вниз, в ложбину между волнами, вокруг вырастали стены изумрудной плотной бездны...

Наконец он повернул к берегу, который отсюда было не разглядеть. Плыл, погружаясь и взмывая, наслаждаясь полётом в послушной широкой волне, постепенно приближаясь к берегу. Он уже видел, вернее, угадывал в синеве сумерек вдаль – тоненькую, чёрно-махровую нить туй и тополей...

И вновь набирал полную грудь воздуха и уходил с головой в прохладную глубину, не закрывая глаз, рассматривая ониковую плоть водяной толщи, мысленно отмечая оттенки, которые можно передать, если...

Когда в очередной раз ушёл в воду, увидел перед собой огромное полукруглое синечёрное тело, в которое едва не врезался. Акула?!!! Он взмыл из воды и рухнул в неё, и в те пару секунд, пока летел, невесомый от ужаса, впереди и вокруг себя увидел множество плавников и синеватых мощных спин, плывущих и подчинённых единому движению согласной флотилии.

Он попал в стаю дельфинов! И эта стая плавно и величественно шла в том же направлении, в каком плыл и он.

Его окатило и облегчением, и новым страхом, что дельфины его затрут, затопчут, утопят, играючи... или со зла. Он много читал про них разного, не очень-то верил в их дружелюбную улыбку... Оставалось лишь плыть в их фарватере, тоже плавно, бесстрашно, не поддаваясь панике...

Он плыл, взятый дельфинами «в коробочку», плыл, постепенно выдыхаясь, теряя силы в этом мощном забеге, в невозможности свернуть или отстать, всем телом ощущая своё ничтожное место в их стае – ничтожное место, издевательски, казалось ему, выделенное ими. ...Они загоняли его, как охотники – дичь; ему уже не хватало воздуха, и время от времени он переставал понимать, куда плывёт: к берегу или, наоборот, в открытое море... В мутных каменно-

зелёных валах, которые преодолевал он всё с большим усилием, ему чудилось, что он уходит со стай дельфинов всё дальше; что тело его, продолговато округляясь, в конце концов, уйдёт в глубину, присоединившись к этому народу...

...Когда постепенно, по одному, дельфины стали покидать его, когда вдруг он остался один в полукилометре от берега и в сумерках обозначилась крошечная фигурка Володи, машущего белым лоскутом дурацкой панамы, – Борис вдруг ощутил спазм парализующего ужаса, осознав – *что* его миновало.

...Он вышел на берег на трясущихся ногах, лёг на спину, на остывающую гальку, и сказал другу:

– Ты иди, Володь... Иди ужинай... Мне что-то не хочется...

И долго лежал так, дрожа, боясь потерять сознание и даже на минуту, даже в беспамятстве вновь оказаться в глубинной мощи свободной стаи, вновь обречённо ощутить своё место в том первозданном заплыве, в страшной ониксовой пасти бездонных вод...

4

– Ты чего скучный такой, философ? – спросил старшина Солдатенков, столкнувшись с ним в столовой. – Новый год скоро! Ты же художник? Так сотвори нам праздник.

– ...да при чём тут? – Борис пожал плечами.

– Как при чём! Ты давай, организуй ребятам веселье! Флажки какие-нибудь раскрась, что-то спортивное, бодрое... ну!

– На чём нарисовать-то? – Он криво улыбнулся.

– Как на чём! На стене.

И Солдатенков сам оживился, повеселел от этой идеи:

– А что... Стены мы пачкать, конечно, не можем. Но если купить обои, прикрепить их обратной белой стороной... Чем тебе не место эксперимента? Это ж грандиозную картину можно замастывать?

– Фреску... – пробормотал Борис.

– Ну! Ёлку огромную, сугроб там, не знаю, Дедушку Мороза какого-нить намалевать, Снегурку, ё-моё...

И вдруг Борис не то чтобы загорелся, но попал в силовик идеи, нового дела, которое не подпадало под армейскую разнарядку и которое он мог придумать сам и сделать таким, каким ему захочется.

В ближайшую увольнительную они вдвоём с Левигиным съездили в город и закупили нужного материала. Вернувшись, закатали белым свободную стену казармы, и до ночи Борис сидел, рисовал в альбоме эскизы, прикидывал композицию, отбирал персонажей, сочинял для них позы... – словом, готовился. По его замыслу, будущее полотно должно было явить нечто среднее между «Ночным дозором» Рембрандта, «Свадьбой в Канне» Паоло Веронезе и «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи...

...За предновогоднюю неделю, используя свободные дни, выпрошенные для него Солдатенковым у начальства, Борис создал свою обойную солдатскую «фреску».

Это было весёлое застолье: ломящийся от яств могучий деревянный стол, вокруг которого уместилась почти вся рота. Поднимая и опрокидывая бокалы, каких в жизни в глаза не видал ни один посетитель местной солдатской столовой, вонзая ложку в салат горой, подцепляя вилкой кусок огромного осетра с хребтом дракона; взрезая пышный холмистый пирог, воздевая, как шпаги, шампуры шашлыков, срывая виноградину от огромной кисти сорта «Крымский» – кто развалившись, кто привскочив, кто хохоча, кто разевая в песне рот... – сидели его однополчане, празднуя молодость и Новый год.

На стене, на пространстве четыре на полтора метра, кипела жизнь: пылал очаг, южное солнце ломилось в высокие полукруглые окна, за которыми, под густым синим небом, меж белоснежных колонн, увитых плющом, далеко и вширь простирался... Никитский ботанический сад. Не мелочась, изобразил художник буйство южной природы: зелёные кипарисы и араукарии манили зрителей на дальние лужайки, где фиолетовые соцветия Иудина дерева мешались с белыми свечками каштана и с майской сиренью; где глициниевая беседка зазывала путника присесть и отдохнуть; где круто вверх поднимались склоны, желтеющие молочаем, а над самшитовыми кустами полыхало малиновым цветом абрикосовое дерево... И нежный лиловый барвинок, и солнечные цветки шафрана – всё нашло своё место на этой щедрой картине, включая целую пригоршню сцепившихся бабочек-капустниц, лимонной гроздьёю висящих прямо над столом.

Всю роту Борис за стол усадить не смог, но большинство наиболее ярких персонажей переключались сюда со страниц его блокнота. Оставшиеся за пределами праздника однополчане ревнивым матом отмечали рождение высокого искусства...

– А я где же? – угрюмо спросил Ригель. – Где я на этом празднике?

– Да вон же ты, – легко кивнул Борис на фигуру в правом верхнем углу картины: там, грузно и сутуло пригибаясь под низкими ветвями мушмулы, шёл человек, приближаясь к компании за столом.

– А, – с облегчением, с одобрением в голосе произнёс Ригель. – Значит, ещё не всё сожрали без меня, сучьи дети!

* * *

И вот однажды Ригель привёл его в странное место.

...и странно, что пригласил, думал Борис: к тому времени они уже почти и не беседовали ни о чём, словно Ригель вдруг потерял к нему интерес, а Борис и вовсе перестал искать с ним даже мимолётных разговоров. Да и приглашением это назвать было трудно. Просто обоим вышла увольнительная, и Ригель, брея над раковиной в умывальной, сказал в зеркало:

– Компанию составишь, Грузин?

– Куда это? – спросил Борис.

– В одно местечко уютное... – промычал Ригель, выбривая выемку над верхней губой. – Женщины. Жратва. Шампанское.

Это *шампанское* Бориса насмешило. Женщины, шампанское... Праздник, который всегда с тобой...

Почему бы и не пойти, подумал он.

Много позже он понял, что то была воровская малина. А в тот весенний день, согретый чуть ли не первым, по-настоящему солнечным теплом, ему было всё равно, куда идти, лишь бы на волю. Это потом таинственное сборище и его участники всплывали в памяти, будоража воображение: что это было? Кто эти люди? И почему Ригель приволок его туда, где его явно никто не ждал...

Дом стоял на окраине Перми, в Нижней Курье. Местечко в прошлом дачное, купеческое, чиновное; с высокого берега, поросшего сосняком, открывался прекрасный вид: извилистая река, уходящая в далёкие холмы.

До революции богатые купцы и железнодорожное начальство наперегонки строили здесь кружевные деревянные терема в неорусском стиле, «ропетовском» – по имени его создателя, архитектора Ропета.

Сейчас из теремов осталась лишь дача какого-то знаменитого купца – запущенная, но всё-таки сказочная, с резными-узорными башенками и балконами, – переделанная то ли в пионерский лагерь, то ли в Дом детского творчества.

Дом, стоявший в глубине сада на одной из дачных сосновых улиц, тоже был деревянным, но с неожиданной каменной балюстрадой; видно, владельцы, перекупив у кого-то из наследников купеческую дачу, захотели добавить ей недостающего шика. Выглядело это диковато, словно где-то в Италии, в каком-нибудь Абруццо некто выломал из дома часть великолепной колоннады и обломок приволок в Нижнюю Курью, приделав его наобум лазаря к деревянной резной веранде.

От калитки, сквозь пышное цветение кипенно-белой черёмухи, до ступеней балюстрады вилась кирпичная дорожка, и эти белые колонны, и черёмуха, и солнце на красных кирпичах дорожки придавали довольно запущенному двору вид нарядный и приветливый.

С веранды приоткрытая дверь вела в прихожую, устланную половиками. Тут Ригель потопал, хотя мог и постучать, и зычно крикнул: «Можно войти?» Женский голос протяжно ответил: «Рискни уж, если пришёл». Открылась ещё одна дверь – филёнчатая, красивая, цвета топленого молока, видно, осталась тут со старых времён (как всё же эти «старые времена» богаты на подробную домашнюю красоту, подумал Борис), – и на пороге встала молодая женщина. Махнув рукой – мол, заходите, некогда мне тут вам угождать, – она ушла в дом, а Ригель с Борисом ступили в большую залу, где за длинным столом, пересекавшим комнату от стены до стены, сидели в застолье несколько мужчин. Эта зала тоже хранила печать былой уютной жизни. Вправо и влево вели отсюда те же филёнчатые двери, а в закруглённых наверху высоких французских окон горели сегменты цветного стекла, сквозь которые солнце добрасывало на скатерть зелёные и жёлтые осколки карамели.

Стол буквально ломился от еды, и это так напомнило Борису его новогоднюю фреску! Миски, глубокие тарелки, фаянсовые блюда были полны кусками жареного мяса, пирогами, салатами, солёными груздями и огурцами, маринованной черемшой... Воздух комнаты был круто пропитан головокружительными ароматами еды – сытной, разнообразной, изобильной, отнюдь не солдатской. Из кухни к столу и обратно сновали несколько женщин, зорко поглядывая – какую тарелку уже можно убрать, а какую на её место поставить. Бодрая полная старуха, ногой отпахнув пошире дверь, внесла на обеих вытянутых руках огромное блюдо с гусем, зажаренным целиком... Борис ошалел от вида этой царственной птицы, подумал: вот чего не достаёт моей картине пира...

Да, это был пир настоящий, не рисованный... И в центре застолья в глубокой эмалированной миске, скорее в тазу, круглился холм варёного риса, исходящего паром. Жёлтый, струящийся, с кусками моркови, он сверкал, как гора драгоценных топазов, и Борис, со спазмом в желудке, почувствовал, что мог бы съесть сейчас всё это блюдо, черпая эту золотую благодать большой хохломской ложкой, воткнутой в рисовый холм.

Судя по возгласам и замечаниям, Ригеля здесь неплохо знали, а вот на Бориса уставились подозрительно. Ригель что-то буркнул двум пожилым мужикам, очень друг на друга похожим, с одинаковыми лысыми в оперении седых кудрявых венчиков, и, усевшись за стол, ладонью шлёпнул по стоящему рядом с собой венскому стулу, на который Борис и опустился.

Обоим тут же налили водки в стаканы, велели *налетать на эжеванину*. Они и налетели...

После солдатской столовой еда казалась божественно, неопишимо вкусной! Борис дважды насыпал себе риса, схомлячил кусок гуся, куриную ногу, опрокинул ещё стакан водки, прикидывая – удобно ли потянуться к блюду в третий раз или так посидеть для приличия...

Стараясь не слишком пялиться на участников застолья (он знал за собой это художническое качество: беззастенчивое рассматривание лиц), Борис, как всегда, жалел, что не может набросать в своём блокноте, например, вон того старого попугая – костистого, с сизым омертвелым носом и желтушными глазами; или того юного розовощёкого хитрована с румяной приклеенной улыбочкой. А чего стоят двое венценосных хозяев: да это просто близнецы-римляне после терм – вон как блестят потные лица!

Удивительное сборище, думал он, старательно уводя жадный взгляд рисовальщика от персонажей вокруг, это Брейгель какой-то или даже Босх. А Ригель-то как вписался в компанию!

Разговор за столом шёл на странном языке; может, каком-то местном уральском диалекте, подумал Борис. А может, я уже поплыл и ни черта не соображаю?

После двух стаканов он был трогательно благодарен Ригелю за приглашение, за это пиршество, которым тот поделился с однопольчанином. А ведь мог и не пригласить, мог только кивнуть ему – там, в умывальной, как и кивал в последние месяцы без всякого интереса.

Странно, что женщины не присаживаются к столу, подумал Борис.

Женщин было несколько, сосчитать трудно, они так и носились с тарелками и мисками над столом, что-то забирая из-под локтей сидящих, унося, принося, ставя на стол полные блюда. Но две из них были молодые, фигуристые и ловкие – видимо, дочери тех римлян-близнецов с пепельными венчиками вокруг лысин. Одна – совсем юная, лет семнадцати, другая – постарше, лет, пожалуй, к тридцати. Та, что постарше, отлучаясь на кухню и возвращаясь с очередной тарелкой, посматривала на Бориса – сначала искоса, потом пристальней; приглядывая за мной, что ли, подумал он смущённо. Наконец, зайдя за спины двух молодчиков, что сидели напротив Бориса, курили и сбрасывали пепел в тарелку с недоеденным паштетом, взглянула прямо ему в лицо...

Она была плотнее своей младшей сестрёнки и... «сочнее» – сказал кто-то в его голове. Этот «кто-то» явно уже был пьянёхонек, если вдруг принялся изъясняться сам с собой такими вот словами. Главное, он совсем перестал понимать, о чём там сдержанно и приглушённо говорили мужчины за столом. «Она сочнее и глаже», – добавил этот «кто-то», Ригель, не иначе, тоже искоса, тайком посматривая на молодую женщину, ибо это не могло понравиться «папашам», как мысленно Борис назвал пожилых близнецов. Уж это он, даже крепко выпив, отлично чувствовал всем своим солдатским нутром.

Здесь все – семья, вдруг понял он. Большая и странно дружная, странно *деловая* семья, где у каждого своё место, даже вот в застольях... А зачем мы сюда пришли? Ну да: пожрать, вспомнил. Жратва. Шампанское. Женщины... Праздник, который... всегда! И рассмеялся... Никакого шампанского здесь, разумеется, не водилось, но водки ему Ригель снова налил.

И вот когда Борис потянулся к стакану, чья-то гладкая белая рука успела раньше него, возникла из-за спины, схватила полный стакан и мягко отставила подальше. И на соседний пустой стул рядом с Борисом опустилась та молодая, но зрелая женщина с крутыми бёдрами в шерстяной юбке. Он обернулся к ней, к её близкому лицу: светло-серые дымчатые глаза, райские яблочки выпирающих скул, курчавые волосы над чистым выпуклым лбом...

На его колено опустилась её рука и даже сквозь грубое сукно солдатских брюк показалась восхитительно горячей и тяжёлой.

– Ну что, Лермонтов... – услышал он её глуховатый приятный голос. – Пойдём?

У него взмыло и ухнуло сердце, в затылке зашумело, мутно плеснуло в виски. Надо же, подумал он, как всё просто...

Она поднялась и непринуждённо, будто вспомнила о каком-то хозяйском недочёте и торопится это уладить, прошла к двери, ведущей в другую комнату или в коридор; отворила её и исчезла.

Тогда и Борис поднялся, нерешительно оглянувшись на сидящих за столом мужчин. Подавшись друг к другу поверх тарелок, они бормотали всё на том же непонятном, хотя интонационно абсолютно ясном языке... И Ригель был с ними, в горячем разговоре, был их частью. Никто на Бориса и не смотрел. Лишь юная сестрица мазнула по его лицу заинтересованным взглядом и сразу ушла в кухню.

Он повернулся и, уже не думая ни о каких приличиях, устремился за *старшей*, как мысленно её назвал. Мягко толкнул дверь и двинулся дальше по коридору в рассеянном полумраке. Вернее, то был не коридор, а бесконечная анфилада комнат, переходящих одна в другую, обычная в старых дворянских усадьбах. Женщина шла перед ним шагах в десяти, не оглядываясь, изумительно плавно переводя ноги, ступая мелко, но твёрдо, открывая следующую дверь, минуя комнату, а за ней другую. Чего ж она ищет, лихорадочно думал Борис, вот же оттоманка... и здесь диван... и здесь! Куда ж она, куда?..

Конца не было этой гирлянде комнат, частью полупустых, частью заставленных красивой старинной, но явно случайно набранной мебелью, какая украсила бы любой краеведческий музей.

Наконец женщина ладонью толкнула ещё одну дверь, за которой открылась деревянная веранда, крашенная синей краской.

А впереди простирался двор с тропинкой, бегущей к дальней калитке, и весь этот двор был запружен цветущей сиренью и заполонён её одуряющим тонким запахом.

На миг в его памяти возник двор Володиного дома в Отрадном: солнечные пятна, латунный диск пруда с черепахами... Он переступил порог веранды и растерянно встал рядом с женщиной.

– Значит, так пойдёшь, – проговорила она. – От калитки направо до угла, потом опять направо, и выйдешь на дорогу до станции. Автобус случается, но редко, так что лучше пешком.

И он, странно послушно, как во сне, ступил с веранды, постоял, помедлил... Прошёл по тропинке несколько шагов и обернулся.

Она стояла в синей раме двери, с обеих сторон объятая облаками сирени, и смотрела ему вслед.

– Иди, иди, – сказала негромко. Он уже и не слышал, по губам понял: – Иди, тебе здесь не место...

Интересно, что, вернувшись в часть, он ничего Ригелю не сказал и тот не упомянул об их совместном походе «в одно уютное местечко» – к женщинам, жратве и шампанскому. Не спросил ни о чём, не поинтересовался – куда вдруг пропал Грузин посреди застолья. Словно трясина между ними пролегла и ни один не решался ступить в эту тошнотворную ряску.

Впрочем, недели через три за Ригелем явились двое ментов из «уголовки», и тот – это уже ребята рассказывали, Борис сам не видел – пытался бежать, но его настигли, заломили... «Так он, слышь, – рассказывал Левигин, – прям как медведь, обвешанный собаками, метался, и ревел, и таскал на себе ментов по всей казарме. Одного таки покалечил, расплющил о стену...»

Что там дальше приключилось, чем всё закончилось, за что Ригеля повязали – никто не знал, а начальство молчало и всякую болтовню пресекло.

И больше он Ригеля не видел и не знал – закатали того в штрафбат или куда покруче.

5

...Он сидел и писал уже третье письмо Володе. На два предыдущих тот не ответил. Борис не то чтобы волновался, причины молчания разные могут быть, и он бы понял любую. Любую, кроме...

Он представлял себе, как его друг после учебной пары, на которой студенты рисуют «обнажёнку», терпеливо ждёт в коридоре, пока Ася оденется, а потом они вместе выходят и идут по берегу реки Славянки, где мягко стелются космы вавилонской ивы, вдоль склонов с солнечными каскадами бобовника...

Интересно, каково это: знать каждую жилочку и каждую мышцу в её теле и при этом не решаться взять её за руку? Или Володя давно уже решился, давно уже держит её за руку?

А может, куда как более близкие отношения связывают моего друга и мою девушку? Да с чего ты взял, что она – твоя девушка, усмеялся он и вспоминал: «троллейбусное знакомство»!

Наверное, вот почему Володя не отвечает. Наверное, они вдвоём думают, как бы не обидеть его, не задеть. А вдруг, вернувшись, он прямиком угодит на свадьбу?!

«...Так получилось, что я здесь прославился, – писал он, – и вовсе не тем, что написал на стене действительно очень неплохую картину. А... ни за что не угадаешь: тем, что соорудил сыну полковника карнавальный костюм и тот занял первое место по школе. Так что полковник обнадёжил меня, что похлопочет, напишет куда-то рапорт или докладную, не знаю уж, как это назовётся, чтобы мне подсократили срок службы: сейчас как раз идёт замена трёхлетней армейской службы на двухлетнюю... Ужасно скучаю по краскам, по настоящей учёбе, по натуре, по морю... Знаешь, мне сейчас так часто снится тот сон – помнишь, ты меня будил ночами, когда во сне я заходил от крика? Это странно: прекрасно помню, как я плыл: молча, упорно, стараясь не сбиться с их дельфиньего ритма. И эта дорога в море, она была как сердечный ритм, неостановимый ритм работающего сердца... А сейчас не кричу, только плыву и плыву, плечами чувствуя их мощные тела. Плыву и плыву... до дембеля».

Он думал: написать ли что-то более личное, рискованное, откровенно-мужское... вроде – Володька, ты ответь, ты не думай, что я в обиде, если вы с Асей. Я всё понимаю: трудно ждать преданности от «троллейбусного знакомства».

...но удержался, не написал. Не стоит мутить, подумал, старую дружбу. Закончил просто, ясно, почти весело: «Давай-ка, не ленись, лодырь, черкни пару слов далёкому заключённому в приуральских лесах!»

* * *

По одному, по двое ребята уезжали. Собирали свои рюкзаки или фибровые чемоданы, прощались, обменивались адресами и... уходили за ворота части к остановке автобуса.

Интересно бы вспомнить, кто первым придумал прихватить с собой своё изображение на обоях фреске, кто первым подошёл к стене и перочинным ножиком аккуратно вырезал свою фигуру, свернул в трубочку и торжественно пожал художнику руку. Вскоре это стало обычаем: дембеля один за другим покидали картину, будто сходили с неё, оставляя за спиной полный пиршественный стол; закидывали на плечо рюкзак и, прихватив свёрнутое в трубку своё изображение, покидали казарму.

Нравилось ли это Борису? Пожалуй, да: признание, в какой бы форме оно ни выражалось, лестно создателю. В конце концов к лету остался на стене среди застолий только он сам да одинокий Ригель вдали, так и не угостившийся яствами... Один лоскут бывших обоев отделился от стены и повис, накрывая весьма недурно написанную ветвь мушмулы.

Последним вечером, буквально накануне дембеля, Борис получил письмо: надо же, восхитился, его ведь могли и завтра принести, и тогда ищи-свищи адресата, а?

Почерк был незнакомый, округлый, спокойный... Он торопливо рванул конверт и вынул листок. Там было несколько фраз от Володиной матери. Она писала, что долго рука не поднималась к трагической вести, но последняя открытка, в которой Борис с обидой спрашивал – не забыл ли его друг, что так долго молчит... – та открытка лежит на комодке и не даёт ей покоя.

«Володя скончался, – писала она, – три месяца назад, внезапно, во сне, как когда-то его отец. Не жди от него больше письма, Боря. Прости, что так кратко, душа занемела...»

...Диковинная расклешенная бутылка тёмного стекла, старинный сосуд с густой, как патока, янтарно-смолистой субстанцией наклонялся в её руке, как бы кланяясь приземистым рюмкам. «Итак, друзья мои, запомните этот день хорошенько: не уверена, что ещё доведётся вам в жизни такое вкушать...»

...Всю ночь он проплакал в подушку, как мальчик, оглушённый этим сдержанным, даже сухим голосом Володиной матери в письме; а уснув под утро, продолжал спорить с Володей о красках того заката в Гурзуфе: правильно ли использовать в смеси изумрудную зелёную, кобальт голубой или индиго, а может, ультрамарин или кобальт фиолетовый?

Они шли по залитым солнцем камням Ленинградки, над распахнутой внизу ослепительной ласковой ширью моря, а рыжая кошка-летяга абрикосовой дугой перелетала улицу над их головами... Потом ему срочно куда-то понадобилось идти, и Володя махал и махал ему вслед смешной дамской панамой, а за спиной его вытягивалась длинная фиолетовая тень, с которой Володя постепенно сливался... пока не растворился совсем.

...Вдруг он очнулся и вспомнил: Володи нет. Ничего, ничего тот больше не напишет! Долго бесслётно лежал, молча глядя, как по молочно-опаловому небу в окне разливается нежная голубизна...

Наутро проснулся, совершенно собранный, готовый в дорогу.

Он попрощался с товарищами, закинул за плечо рюкзак, на другое плечо повесил этюдник и пошёл... Но обернулся в дверях казармы.

На покровсанной, висящей бумажными лохмотьями «солдатской фреске» к разорённому столу с жалкими остатками пира приближался и никак не мог дойти всем чужой, всеми отринутый Ригель...

Дорога назад – в его настоящую жизнь, к любимому делу, краскам, холстам, свободе – мелькала весело, нетерпеливо, взалёб: за окнами поезда меж тополями вспыхивали серебряные лоскуты воды, солнце блистало на красном куполе, как румянец на мелькнувшем лице города; к вечеру сумерки распускали бледные цветы фонарей на мимолётных полустанках и станциях; менялись пейзажи, растительность, запахи, колотился ветер в проводах, трепал занавески над приспущенной рамой окна, и луна вперегонки бежала за поездом, но, напорвшись на мост, расплескалась по реке.

В какой-то момент он вытащил из рюкзака книгу Хемингуэя, привычно раскрыл наугад, стал читать... Через минуту закрыл: вся эта чужая минувшая жизнь его больше не интересовала. Его самого – он был в этом уверен – впереди ожидало столько всего! – дай бог управиться. Дай бог впитать этот мир – ежеминутный, единственный, ускользающий, – отразить его, воплотить в материале... А Хемингуэй – что ж, он хороший писатель. И *свой мир* описал добросовестно и честно.

Последний день пути поезд катил вдоль моря – с утра оно было цвета изморози, но вскоре загустело до блескущей сапфировой синевы. Замелькали веерные пальмы на набережных, крыши, балконы, кипарисы, араукарии. И так радовалось сердце, узнавая как родных перевернутые лодки на песке, бревно, выбеленное морской водой, и блистающего на солнце гнедого коня, которого мальчишки вели по берегу...

Наконец поезд выкатился в сверкающий полдень, замедлился, шумно выдохнул... и въехал в вокзал.

* * *

Пустячное происшествие в воровской малине, вернее, полное отсутствие какого-либо происшествия, почему-то много лет не давало Борису покоя. В некоторых его картинах наряду с придуманными или знакомыми, или родными лицами встречалось такое необычное, сильное женское лицо: выпуклый лоб, крутые скулы, облако курчавых волос.

И при виде кустов сирени, в какой бы стране он ни оказался – с выставкой или просто в поездке с женой, – в памяти тотчас оживала женщина в ореоле пепельных кудрей. Её плавная фигура удалялась в полутьме длинной анфилады комнат, синяя дверь, распахнутая в яркий весенний двор, казалась рамой, а вокруг под ветерком колыхались кипенно-белая черёмуха и зелёные шали прозрачных берёз... И казалось, стоит лишь взглянуть в шевелящиеся губы, чтобы услышать – что она хочет сказать...

«Тебе здесь не место, – повторял ему голос во сне, – иди, иди, тебе здесь не место...»

Будто хотела уберечь его от какого-то гибельного шага, не только в тот день, но и впредь, и далее – за гранью, за толщей лет...

Август 2023, Иерусалимские горы

От Евы до Евы

Старики занудны... Кто вообще вслушивается в то, что они говорят, особенно если это твои старики: бабушка, дед, бабушкина сестра Берта с её дурацкими «партЕйными собраниями»... Старики рассказывают ветхозаветные притчи, интересные одним лишь тараканам на кухне. Старики допотопны, их проблемы ничтожны, их жалобы смешны. В конце концов они помирают – и это правильно: старики должны помирать, а иначе для чего существует заведённый порядок этого мира?

И вдруг однажды ты понимаешь, что, собственно, сама превращаешься... ну, не в старуху пока, а как бы это помягче – в женщину в возрасте. Что у тебя тут ненароком возникли внучка и внук, дорогие тебе существа, забавные ребятки, которым до тебя – и это так заметно! – совершенно нет дела. Моя деловая внучка недавно отрезала посреди какой-то моей высокоумной тирады: «Баба, молчи, а? Мешаешь...» И моё первое желание возразить семилетней засранке, что меня пока вполне слушают полные залы, а читают ещё более обширные массы людей, мгновенно разбилось о её незамутнённый взгляд нового человека. Представителя нового поколения. Свеженькую личность, которая лучше знает, что лично ей понадобится в жизни. Которой недосуг выслушивать рассуждения бабушки, пусть и любимой...

И я вспомнила свою бабушку Рахиль.

Ташкентское землетрясение (раньше я писала «знаменитое ташкентское землетрясение», но с недавних пор поняла, что величие того или иного события связывается с непрочными жизнями переживших его и быстро тускнеет для следующих поколений), – ташкентское землетрясение 1966 года грянуло, когда мне исполнилось двенадцать лет. Подземные толчки потрясли половину города, в основном, конечно, частную застройку. Саманный домик моего дядьки потрясло изумительно точно, я бы сказала, концептуально точно: из него вывалилась наружу одна стена. Целая стена той комнаты, где я спала на топчане, приезжая к бабушке на каникулы трамваем.

Помню яркое апрельское утро, слегка курящееся над развалинами повсеместно поднятой пылью. Я проснулась на своём топчане и сижу на нём, как на сцене, свесив босые ноги. Снаружи стоит во дворе моя бабушка Рахиль и, уперев руки в бока, толкует с моими приятелями Мишкой и Сёмкой.

– Тётъ Рахилья-а-а... – тянут они. – Отпустите Динку скорпионов ловить...

Скорпионы, потревоженные судорогами почвы, действительно полезли из всех саманных щелей, из-под обломков кирпичей и действительно возникли всюду в огромных количествах: Азия... Мы их ловили в банки или бутылки, заливали спиртом, и это считалось противоядием от укусов. Банку с такой начинкой можно было недурно продать и обогатиться: мороженого накупить, надувных шариков, деревянных свистулек. Занятие весьма опасное, что и говорить. Но с каких это пор опасность отпугивала настоящих охотников?

– Я вам дам скорпиёнов! – вопит моя бабушка. – Гляньте на этих паразитов! Такое горе кругом, люди остались без стен, без крыши, а у них одни удовольствия в голове!

С возрастом начинаешь за возрастом следить: замечаешь некую цикличность жизни, убийственное обаяние её бестрепетного хода, ровный бег этих валов, наплыв-откат, весну-осень...

Тихий шелест разговоров давно ушедших стариков с годами разгорается в тебе всё ярче, становится всё дороже. И вот сейчас бы ты поговорила, вот сейчас бы расспросила обо всём... Откуда взялась, как проросла в наследниках прабабушка-цыганка и что ж это за глубина такая, что, потеряв ценную вещь (кольцо или серьгу, или кошелек, например, вытаскивали), ты радуешься хорошему знаку: отпустили, выходит, тебя там, наверху, если взяли деньгами...

А потом ты осознаёшь со слепящей ясностью, что ты и есть просто звено в этой цепочке рода, просто ячейка генов, просто ступень в бесконечность бесконечных переплетений родственных жизней от Евы до... может быть, другой Евы?

И тогда ты мысленно раскидываешь руки, пальцами правой касаясь давно истлевшей руки собственной бабки, а пальцами левой – маленькой юркой ручки собственной внучки, и удовлетворённо понимаешь: ты на месте. Ты там, где, даже и умерев, положено тебе стоять во веки веков.

Бабка Рассказ

Она звала меня «мамэлэ», и...

Вновь и вновь ворошу память: что бы ещё дополнило благостный образ еврейской бабушки?.. Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моём роду днём с огнём не сыскать; в бабке – тем более.

Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у неё не то что умилённое или смиренное, скорее... постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придурилась.

Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка... Фотограф местечка Золотоноша имел возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.

Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пятеро в лёгких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть упёрт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично...

Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета картонке – её нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, – когда я прогуливалась по музею князей Чарторыжских в Кракове.

Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с неё портрет». (О эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)

Так вот, некий молодой художник был якобы в неё, в мою бабку Рахиль, влюблён смертельно. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствии деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? Где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет...

Из пяти сестёр Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых...

Нет, надо бы не так.

Не удаётся мне отринуть вечную иронию по отношению к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зелёные, смешливые, – бабка всегда привлекала к себе внимание. «На неё оборачивались, – вспоминает мама. – Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сдувало в её сторону, как флюгера под ветром».

В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где – в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времён бабкиной молодости все купальщицы, известно, выглядят уморительно! Я представляла свою бабку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке... – и дико хохотала.

Словом, бабка была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украиньски песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моём детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая бабка, в украинском кокошнике с лентами, упоённо закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей жёлтенькой канарейки, – спивает: впивает, пьёт нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка мисячна, зоряна, ясная... Видно, хочь голкы збырай...»

Ну, и так далее...

И всё же не песня была её коронным номером. Когда наполовину опустошались бутылки и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пламенели разгорячённые уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды – кто-нибудь из гостей обязательно просил:

– Рухэлэ... представь!

В ответ она сооружала изумлённо-оторопелое лицо.

– Представь, представь! – неслоь со всех концов стола. – Хватит придуливаться!

Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней зывали, а к кому-то за её спиной...

– Представь!!! – вопили гости.

– Та я шо ж... – начинала она мямлить. – Шо ж... разве ж я...

Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, имя которой выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабка образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И скороговоркой на «суржике» представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от мени комплименту на ваши яйца!... Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; аптекарша Голда Рафаиловна Ганц, которая, в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны, перетаскивает свою отключенную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков – мол, те дали ей неправильную телеграмму.

И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей...

* * *

Я таких застолий не помню. Это были уже другие времена и другие земли: не благодатная довоенная Украина, а знойное столпотворение саманного Ташкента, куда – через Кавказ и Казахстан – моих родных занесло эвакуацией в начале войны и где они застряли навсегда. Но то, как моя бабка Рахиль «представляла», – отлично помню с младенчества. Никаких сказок, никаких стишков из детских книжек – ничего такого, чем обычно пичкают ребёнка, заставляя «съесть ещё ложечку».

Одни лишь истории сегодняшнего утра.

– Отойди, – говорила она маме, пытавшейся впихнуть хоть немного еды в мой намертво захлопнутый рот. Вытирала руки о фартук и усаживалась на стул, полубоком ко мне, вполоборота к маме. Она и обращалась-то к маме, не ко мне, так что я, с опостылевшей кашей во рту, оставалась брошенной на произвол судьбы безо всякого внимания заинтересованной публики. Меня разом исключали из сюжета, переводя в ранг стороннего слушателя.

– Еду сегодня на Алайский... – начинала бабка неспешно, сосредоточенно размешивая ложкой кашу в моей тарелке, как бы взбивая небольшую волну и сразу её успокаивая. – Я ещё со вчера задумала гефилтэ шуку, а шуку, ты ж понимаешь, брать надо с утра, пока в ней глаз

не замутился... Ну, в трамвае битком, не продохнуть, но меня таки усадил какой-то студент. Студенты – вежливые, Рива, ты заметила? Один мне как-то сказал «мадам», может, он уже был профессор?

Никогда не удавалось уловить тот миг, когда её обыденная речь плавно переходила в разговор рассказчицы. Возможно, она и сама его не замечала.

– Сижу ото так у окна, рядом дама в фасонистой шляпке... Влезают на Первомайской старик и мальчик, небольшой такой паренёк, ну, лет, как прикинуть, восемь... Их тоже усадили – против меня; сумку свою старик поставил на пол промеж ног, едем... Вдруг смотрю: сумка-то шевелится! – Её рука молниеносно зачерпывала ложкой кашу и зависала в воздухе... – И там, в щели... ой, готеню! Ушки-то... ушки такие серые – чик-чик! чик-чик!.. – Полная ложка следовала прямоком в мой открытый рот. – Жуй, жуй как следует, мамэлэ, такую кашу не каждому ребёнку варят... А ну, думаю, шо ж там такое?.. Какой такой зверёк?.. Прикрути огонь под супом, Рива... А ты давай, глотай, сидит, щёки надула...

– В сумке... – мычу я, глотая комкастую массу во рту, – кто?

– Кто... я вот и спрашиваю дядьку вежливо: «Старичок уважаемый, а кто у вас в саквояже ушами шевелить?» Ох, как он осерчал! Сумку к себе придвинул, захлопнул, ногой под сиденье зашоркнул: «Не ваше дело, эр зугт, гражданка, чего суётесь в чужой саквояж!»

Каким образом, при помощи каких неуловимых ужимок, гримас и жестов, понижения и повышения тембра голоса и полной его перемены она умела передать сутолоку, дребезжание, скрежет и перебранку пассажиров утреннего трамвая; какой выразительной мимикой воссоздавала образ сварливого старика с волосатыми ушами, какими жалостливыми интонациями умела вызвать сочувствие к притихшему пацану на деревянной лавке трамвая... – это я бессильна передать. А вставные словечки на идише расцвечивали рассказ забавной и убедительной инкрустацией, и картина вставала перед глазами в неопровержимой подлинности: не верить этой истории было просто невозможно. Я глотала кашу, ложку за ложкой, только бы не останавливалась бабка, только бы длился её рассказ!

– Гляжу на мальчика – а он пла-ачет. И горько так молча плачет и, видно, боится старика. А соседка... женщина-то в фасонной шляпке, у неё там на полях лежат этак три вишенки, ну прямо живые, бери и ешь! – она тихо мне говорит: «Я думаю, милицию пора звать. Не знаю, зи зугт, что там у него в саквояже, а только оно стонет!!!» И кричит: «Вож-жа-атый! Тормози транвай! Тормози транвай!» Ну... то, сё, скандал, вожатый тормозит, в вагон вбегает милицанер. Так... последняя ложка... молодец, вот и каше конец.

– Дальше!!! – кричу я возмущённо.

– А что дальше... Милицанер документы смотрит: всё, мол, в порядке, все свободны, свидетелей отпускаю. Это просто, эр зугт, старичок с внучеком везут на рынок кроля продавать.

– Нет, ну погоди! – возмущается мама. Она сидит на соседней табуретке, так же, как и я, напряжённо слушая бабкин рассказ. – Что это за конец такой, ты что, смеёшься! Только растравила ребёнка. Как там на самом деле было?..

И умолкает, наткнувшись на бабкин насмешливый взгляд.

* * *

Для меня-то она всегда была старухой.

Её растрескавшиеся руки помню как самые рабочие из всех, что встречала в жизни. Первое, что я видела и чувствовала, просыпаясь, – эти руки: тяжёлые квадратные кисти, грубые пальцы. Она поднимала меня и на тёплое со сна тело натягивала лифчик с болтающимися резинками, к которым цеплялись чулки. От прикосновений жестяных её пальцев к материи возникал шорох. Если она нечаянно ужаливала ледяными заусеницами горячее тело с исподу ляжки, я взвизгивала:

– Ай, баба, колючки!

Эти руки, их жёсткий холод по утрам (посуду она мыла в миске холодной водой – горячей не было) навеки слиты в памяти с жемчужным окном с его шершавой, всегда чарующе новой картинкой: сказочные звери в чащобах морозного лесоповала. Значит, зимние каникулы, первый класс...

Моя память так уютно обжила эти недели, зимние и летние, прожитые на Кашгарке, в домике с единственным, но большим окном, лучезарным, как экран в стремительно меркнущем зале кинотеатра. Весной и летом оно было полно сумрачной тополиной листвой, зимой же... Не любой зимой, но редкой холодной – какая выпадала на моё детство раза три – заиндевшее окно-театр проявляло все свои летние видения застывшими на стекле: там по морозно-расписному заднику проносились сцены погони, сражений, свадеб и похорон, там медведи ворочали толстые брёвна, там бабочки навеки замерли на кустах магнолий, там в густой сети окаменела белая рыбина...

А между хлипкими рамами окна бабка держала продукты – холодильников не было. По утрам она доставала очередной пакет или кулёк, придирчиво принюхивалась, сомневаясь: выбросить или деду отдать... Она считала, что у деда железный желудок.

– Сэндер, – говорила она с заметным одобрением, – о, Сэндер имеет айзенер бух!

Айзен – «железо» – было одним из её любимых словечек. Тупую голову называла айзенер тухес, «железной задницей», и часто повторяла, что на еврейские фамилии ушло много железа. И ведь правда: в моём классе учился мальчик Саша Айзен и девочка Лина Айзенберг, а фамилия нашего завуча вообще была устрашающей: Айзенблат – «железная кровь»! – вот среди чего я росла...

...В этих саманных лачугах, слепленных после войны на скорую руку, часто гасло электричество, и если такое случалось вечером, бабка запаливала свечу. Вид горящей свечи – первое и самое сильное впечатление от борьбы стихии с хладнокровно прожорливым временем. Лёжа на топчане, где мы с бабкой спали валетом (её ледяные ноги упирались в моё горячее тело, изрядная часть ночи уходила на мои тщетные попытки отодвинуться), я следила за трепетом упрямого огня, не отводя глаз, внедряясь зрением в оранжевую сердцевину тонкого лезвия, и последнее, что видела с подушки, засыпая, – порхающий в чёрном окне огненный мотылёк. Ни разу не удалось мне досмотреть эту битву, в которой всегда погибал огонь. Утром на месте свечи горбилась на блюде восковая лужа с обугленным фитилём в застывших парафиновых волнах... Это и были первые уроки творчества, первая его заповедь: мир твори огнём, лепи его из обжигающе горячей плоти; поздно менять, когда застынет.

А ведь всё это было таким привычным: и холодная вода по утрам, и жужжащий примус на веранде, и лужа застывшего парафина, и кастрюля с прокисшим борщом за окном, и уборная во дворе...

Раз в неделю, или чуть реже, во двор протискивался грузовик с углём. Немедленно хлопала дверь в крайнем от ворот домике, на крыльцо выбегала Шарапат, третья дочка дяди Хамида, и пронзительно кричала: «Жопер Ванюшка! Жопер Ванюшка уголь приехала!» Это означало только одно: шофёр Ванюшка привёз угля.

Печка была весёлая, серебристая, выказывала круглое брюхо, утренний свет струился по ней ручьём, стекал по серебряному брюху сверху донизу, упираясь, как в запруду, в чугунную заслонку, похожую на чёрный тульский пряник – с выдавленным рогатым оленем. Угля жрала она этим брюхом немерено.

Бабка вносила со двора ведро угля, высыпала его на жестяной поддон перед заслонкой (драгоценный антрацитовый блеск на острых гранях) и принималась разжигать огонь. Вот что меня завораживало: она укладывала в огонь куски угля голыми руками. Так же, как снимала с огня примуса кастрюлю с варёной картошкой – просто подняв её за алюминиевые ушки.

– Ба, ты что! Больно же?

– Та не, – отзывалась, насмешливо щурясь. – Они ж у меня деревянные...

Этими руками каждое утро она бинтовала деду культы ног. Длинные бинты змеились по струганым доскам пола. Сначала разворачивала их, как свиток, потом сворачивала в тугой рулон и затем бинтовала. Почему дед не вскрикивал от прикосновения бабкиных рук – не знаю. Никогда не слышала, чтобы он звал её как-то иначе, чем «Рухэлэ» – что на русский можно бы перевести как «Рахилька», если б этот перевод нёс в себе хотя бы толику упругой и нежной силы, с какой он произносил её имя. Дед был человеком вспыльчивым, но даже у меня, ребёнка, хватало ума, вернее чутья, понять, что все ссоры затевала она, бабка. Её упрямство и желание всегда настоять на своём стало в семье легендарным. (Если и сегодня, спустя пятьдесят лет, я пытаюсь непременно доказать что-то своему отцу, не отступаясь и приводя всё новые и новые аргументы, я нередко заслуживаю его коронной отрывистой фразы: «Уп-пёртая порода Когановских!»)

Но даже в самых громких скандалах, даже отбрасывая в бешенстве стул к стене, с пеной на губах дед кричал бабке: «Рухэлэ!!!»

Ног он лишился уже в преклонном возрасте: ему отрезало ногитрамваем. В раннем детстве я была убеждена, что это одно слово, вернее, одно непрерывно воспроизводимое в воображении действие: некое гигантское, ужасное неумолимое оно, взмахнув, как кинжалом, трамваем с отточенными колёсами, одним махом отрезает долговязые ловкие ноги моему удалому деду, бывшему коннику и танцору.

За что?

Странная глухота и слепота глазастого детства к домашнему окружению: я не помню этого события, хоть мне и было тогда уже лет пять – изрядная дылда. Зато помню всех городских сумасшедших, всех инвалидов в нашей округе, помню звук деревянной «инвалидной» платформы, гремящей подшипниками по асфальту улицы или глинистому твёрдому накату двора. Помню божественный вкус нежно хрустящей на зубах ножки голубя, зажаренного пацанами в углях за помойкой; помню наглое покачивание цветастых юбок на молодых цыганках, увешанных монистами и младенцами. Подробно помню волшебное барахло с тележки «шарабара», запряжённой в понурого ослика: старый узбек обменивал на бутылки глиняные свистульки и тугие, румяно раскрашенные шары, выдутые из аптечных сосок... Я помню страшное одутловатое лицо нашей больной соседки, которую я считала несчастной старухой, а она вдруг родила славного толстенького младенца... А вот трагедию родного деда вымело из моей пустой кудлатой башки. И даже те картины, что возникают перед моими глазами при упоминании этого случая, – всего лишь то, что я вообразила и запомнила с маминых слов. Свидетелем несчастья, рассказывала мама, стал сослуживец моего дядьки, который видел, как дед попытался вспрыгнуть на подножку трамвая и, не удержав равновесия, упал навзничь на рельсы, когда трамвай уже тронулся. Он немедленно бросился в техникум, где мой дядя преподавал физику. В тот день была объявлена контрольная, и в классе стояла тишина, в которой лишь мел дробно постукивал по доске, выписывая условия задачи.

Короче, дядя примчался в больницу как раз в тот момент, когда «скорая» привезла деда Сэндера в приёмный покой. Врач попросил его снять с пострадавшего сапоги; тот взялся за правый сапог деда, потянул... вместе с сапогом снялась нога. И кавалер трёх орденов Славы, капитан артиллерийских войск, чья батарея одной из первых вошла в Берлин, – мой дядя свалился на пол без сознания в обнимку с отцовой ногой.

Когда случилась беда, друзья и сослуживцы (дед был виртуозным рубщиком мяса) собрали приличную сумму и явились к нему торжественной скорбной группой. Денег он не взял. Сказал: «Я ведь живой ещё, я заработаю...» И точно: научившись ходить на протезах (ау, молодой и сильный лейтенант Мересьев, чей подвиг мы изучали в советской школе!), вернулся в мясную лавку на Алайском базаре и целый день стоял на тех протезах, разделявая туши. Множество раз я видела, как он работает, как взлетает топор над колодой, как хрястко вонзается страшное лезвие в сизое баранье и бурое говяжье мясо, вздымая зудящие облачка настырных мух... В моём гончем воображении возникало огромное безликое оно, и отточенные колёса трамвая хрястко прокатывались по ногам деда Сэндера, конника и танцора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.